

Юдифь Ратнер



От корней К ЛИСТЬЯМ

*О еврейской судьбе
моих родителей*

Юдифь Ратнер

От корней к листьям

о еврейской судьбе моих родителей

ИЕРУСАЛИМ 2003

Юдифь Ратнер
От корней к листьям

Judith Ratner
From roots to foliage

Редакция и дизайн
Александра Кучерского

Copyright © 2003 by Judith Ratner

Телефон для контактов: 972-8-9454054

Правнукам моих родителей –
Шмулику, Шуле, Арику, Даниэлю, Брайну-
Джошуа,
а также тем, которые еще будут,
посвящаю



ГЛАВА V

В «отказе»

Эта книга задумана мной как рассказ о моих родителях, об их времени, окружении. Мне хотелось бы, чтобы события моей жизни оставались на втором плане. Вместе с тем, моя связь с родителями была такой тесной, неразрывной, наши судьбы настолько переплелись, что мне трудно, почти невозможно, рассказывая о них, не говорить о себе и своей семье. Кроме того, рассказав подробно о себе, я тем самым избавлю в будущем своих детей от этой, может быть, обременительной для них задачи – если таковая вообще когда-либо покажется им актуальной. Постараюсь, насколько удастся, оставлять в стороне хотя бы политику, в которую мы были вовлечены неумолимым потоком времени и обстоятельств, хотя и это в главе об «отказе» вряд ли вполне получится.

Пожалуй, начало этой эпохи нашей московской жизни следовало бы датировать тем зимним днем 1974 года, когда у подъезда профессора Лернера милиция волокла к машине моего Леню, заткнув ему рот кляпом. Для меня и моей семьи это были не только годы страданий, но и время пересмотра идеалов и ценностей. СССР, в котором мы родились и выросли, наконец увиделся нам таким, каким был: страной лжи, двойных стандартов и насилия. Свободное слово под запретом, «чужое» радио глушат, откровенно говорить о политике опасно даже с близкими. В стране повальное взяточничество, дискриминация. Сила отталкивания от «империи зла», как назвал Советский Союз американский президент Рейган, и одновременно – сионистское притяжение окончательно определили наш путь.

Мы постепенно входили в среду людей сходной судьбы, в новое, независимое от советских властей общество, в котором складывались подлинно товарищеские и братские отношения. По существу, мы стали жить как отказники за несколько лет до того, как получили отказ. Как я уже писала, мы обрели известную свободу от советской системы тотального насилия, от советского образа жизни. Мы стремились ничем не быть связанными с советским режимом и его государством. У отказников были свои врачи, адвокаты, преподаватели. Были нелегальные еврейские детские сады. КГБ их отслеживал, устраивались обыски и облавы, чинились тысячи препятствий, оказывалось давление на родителей. Но на смену закрытому детскому саду тотчас появлялся другой – на чьей-то квартире, на даче за городом. К советским учреждениям обращались только тогда, когда это было неизбежно.

Порой мы ходили по лезвию ножа, рискуя свободой, здоровьем, а иногда и жизнью. Но мне не случалось ни раньше, ни позднее испытывать такое возвышающее чувство человеческой солидарности, готовности прийти на выручку в любой момент. Часто кто-то из наших попадал под суд – и на судебные заседания, правдами и неправдами, с риском быть арестованными, избитыми, прорывались товарищи. Мы сознавали себя борцами против насилия. Вместе добивались встречи с делегациями стран свободного мира, со спортсменами из Израиля –

чтобы передать на Запад факты преследования отказников властями. Мы устраивали демонстрации возле правительственных учреждений или в приемных, у библиотеки имени Ленина. Нашей общей идейной установкой была борьба за право человека жить там, где он хочет. Отказники в своем большинстве отказывались бороться с уродствами советского строя, в том числе и с антисемитизмом в СССР, так как не считали возможным как-либо исправить эту систему, с которой в дальнейшем надеялись не иметь никаких контактов. Но были и другие подходы. Например, Павел Абрамович, Владимир Престин, Циля и Милан Меджерицкие инициировали семинар по еврейской культуре в СССР. Многие отказники не захотели в нем участвовать, но конфликтов в нашем движении на этой почве никогда не возникало. Мы с Леной тоже не делали какой-либо ставки на излечение больного общества, но были убеждены, что с антисемитизмом надо бороться всегда и везде.

Практически все отказники были евреи, но далеко не все собирались в Израиль: многие решили эмигрировать в США, Канаду, в другие страны. Однако властями в СССР была принята единственная официальная мотивировка для выезда – «воссоединение родственников, разлученных войной», так что всем приходилось подавать заявление о выезде в Израиль и, стало быть, бороться именно за это. Из-за рубежа нам помогали многие. К нам приезжали из Америки и Голландии, Англии и Канады, Австралии и Франции. Спрашивали, чем могут помочь, боялись неосмотрительными действиями нам повредить. В Израиле боролись за нас многие, в том числе моя мама, которой выступления в Кнесете или по радио обходились дорого: волнение сказывалось на ее сердце.

Мы с Леной были активистами движения отказников. Встречались с нашими лидерами – Александром Лернером, Владимиром Слепаком, Павлом Абрамовичем, Владимиром Престиным, Диной Бейлиной, Александром Воронелем, Виталием Рубиным, Аркадием и Нелли Май, Виктором Браиловским. Решали, что говорить нашим иностранным друзьям, о чем их просить. Иной раз мы просили бойкотировать ту или иную международную научную конференцию, чтобы оказать давление на советское руководство, заставить выпустить за рубеж того или иного ученого. Мы составляли соответствующее обращение к участникам этой конференции или конгресса. Идея «Поправки Джексона – Ванека» – о том, чтобы США не предоставляли Советскому Союзу режима наибольшего благоприятствования в торговле, если он будет препятствовать выезду своих граждан, – эта идея родилась тоже в нашем «отказном» движении.

Взгляды каждого из нас формировались как под воздействием личных обстоятельств, так и вследствие общих принципов. Когда мы с Леной вступили в борьбу с антисемитами на мехмате Московского университета, то это была борьба не только за то, чтобы наш сын был принят туда, но и дело глубокого принципа, которым мы ни за что не хотели поступиться.

Как я уже писала, Миша учился во 2-й математической школе на Ленинском проспекте. Эта школа была создана учениками академика Колмогорова, и в ней учились дети, решившие посвятить себя математике. Как правило, это были способные, часто – талантливые ученики, среди которых было много евреев. В школе работали

прекрасные учителя – хотя и прошедшие проверку на политическую «благонадежность». Притом не только математики или физики. Учитель русского языка и литературы Анатолий Якобсон преподавал свой предмет так, что дети любили его не меньше математики. Впоследствии Анатолий Якобсон эмигрировал в Израиль. Кроме нашей, в Москве математическими школами были также 57-я и 444-я. Ученики этих школ, естественно, наиболее активно участвовали в математических олимпиадах и подавали документы на мехмат университета. Вот тут-то они и наталкивались на антисемитские рогатки.

Примеров и эпизодов так много, что порой и не знаешь, с чего начать. Начну, пожалуй, с наименее драматичного – хоть и трогательного. У моей троюродной сестры Дины и ее мужа Иосифа, о которых я уже говорила, росла талантливая дочь – Рита. Она увлекалась математикой и музыкой, прекрасно пела и играла на фортепиано. В 1977 году, пятнадцатилетней, Рита закончила среднюю школу и подала документы на мехмат университета. Ее, как и других еврейских девочек и мальчиков, завалили на экзамене. Тогда Рита подала документы в «запасной» институт инженеров транспорта, о котором сложили стишок: «Если ты аид – иди в МИИТ, а если ты агой – иди в другой»*. Туда, в отличие от университетского мехмата, евреев допускали, но и там стараниями приемной комиссии девочке вывели 20 суммарных баллов при проходных 22,5. Моя двоюродная тетя и Ритина бабушка, Сара Абрамовна, сокрушалась по телефону: «Что будет с Ритой? Ведь отчаётся, собьётся с пути!» Я стала думать: что можно предпринять? Пошла в институт, имея в запасе лишь один аргумент: девочке только пятнадцать лет, и работать она еще не имеет права. Председатель приемной комиссии направил меня к проректору Макарычеву. Того предупредили, и он меня ждал. «Я по поводу Риты Бейлиной». – «А, это которой пятнадцать лет и двадцать баллов?» – неожиданно пошутил проректор. «Именно так, а не наоборот, – поддержала я. – О вашем институте говорят, что здесь нет антисемитских предрассудков. Надеюсь, вы это подтвердите своим решением».

Риту приняли в институт, где она стала лучшей студенткой на факультете. Впрочем, она проучилась там только полгода: семья получила разрешение и уехала в Израиль. Рита поступила одновременно на математический факультет Иерусалимского университета и в академию искусств имени Рубина. Она стала математиком и певицей, и мы, десять лет спустя приехав в Израиль, побывали на ее концертах. Сейчас Рита живет в Америке со вторым мужем Питером и младшим сыном Давидом, а ее старшая дочь, Мирочка, учится на биофаке Иерусалимского университета. Хочется рассказывать истории со счастливым концом, а ведь жизнь наша и наших детей изобиловала и другими, куда более драматичными коллизиями.

Среди учителей 2-й школы – впрочем, нештатных, ведущих факультативы, – были математики Валерий Сендеров и Борис Каневский. Готовя детей к вступительным экзаменам в университет, они предупреждали, что их будут «заваливать»: им будут предложены особо

* А-ид – еврей; а-гой – нееврей. Идиш.

трудные или нерешаемые задачи. Нужно уметь быстро распознать такие задачи и заявить членам приемной комиссии, что задача в принципе не имеет решения или что для ее решения потребуется больше времени, чем отведено для экзамена. И ни в коем случае не складывать оружия. Понятно, что детям было трудно настроиться на такую борьбу за свое естественное право учиться, но они все же надеялись – и «вооружались». Сендеров, Каневский и учительница 57-й школы Бела Мучник дежурили возле университета во время вступительных экзаменов. Они тут же собирали информацию о задачах, предложенных абитуриентам, и о том, как они их решали. Больше того, они выясняли у вышедших с экзамена их национальную принадлежность, уточняли, является ли провалившийся евреем по отцу и матери, или евреем по одному из родителей, или – евреем на четверть. Приемной комиссии все эти данные были известны: при подаче документов абитуриент был обязан указывать имя и отчество родителей и национальность каждого из них. Письменные работы поступающих вместо фамилии были обозначены шифром, но дознаться, кому они принадлежат, для приемной комиссии не составляло труда, так что и тут была только уловка. Дискриминация по национальному признаку в свою очередь тоже толкала некоторых еврейских родителей на хитрости и подлог. Моя школьная подруга, еврейка Марлена (Мара) Брестина, носила фамилию своего русского мужа – Прохорова. Ее сын, *Максим Николаевич Прохоров*, поступал в университет на географический факультет. Мара в разговоре со мной высказала опасение, что, когда в анкете Максима прочитают ее имя – *Марлена Абрамовна*, вспыхнет красный свет на его пути в университет. Я посоветовала ей не церемониться с лицемерами и антисемитами и без тени смущения обманывать их. «Почему бы Максиму не написать, что его маму зовут Мария Анатольевна?» – сказала я. Так и сделали. И мальчик был принят. Ирония судьбы состоит в том, что сейчас вся семья живет в Германии – именно благодаря еврейству моей подруги *Марии Анатольевны*. Как говорит поэт, «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

У Сендерова, Каневского и Мучник набиралась более чем красноречивая статистика. Первым экзаменом, как всегда, была письменная работа по математике. Давалось шесть задач. Наш сын, да и не только он, решил все задачи правильно, и, несмотря на это, получил неудовлетворительную отметку. Все еврейские дети получили «двойки» – кто на письменном, а кто на устном экзамене по математике, где им подсовывали нерешаемые задачи. Нужно ли описывать настроение одаренных юношей и девушек, зачастую победителей математических олимпиад, которых цинично и нагло отшвырнули от университета? Сознание того, что с ними поступили вопреки справедливости и чести, не избавляло их от горечи и чувства угнетенности. Сендеров, Каневский и Бела Мучник организовали для непоступивших Еврейский народный университет, где математика изучалась по университетской программе, преподавали в нем сами и привлекали видных ученых. Помещение для занятий находили чаще всего на территории института нефтяной промышленности, у кого-нибудь на дому, а то и в самом московском университете. ЕНУ (Еврейский народный университет) просуществовал два года. В нем училось около 50 человек.

Вступительные экзамены в университет проходят в июле, а в остальных вузах – в августе, так что провалившиеся еще имели возможность забрать свои документы и поступать в другое место. В основном для наших детей это были нефтяной институт, так называемая «Керосинка» с ее факультетом прикладной математики, и аналогичный факультет института инженеров транспорта. Наш сын подал заявление в один из таких «запасных» институтов. Но мы с Леной решили, что наша совесть, наш общественно-политический статус обязывают нас бороться с теми, кто проваливал наших детей в университете. Мы были не из тех, кто, получив пощечину, бежит прочь. Но что можно сделать? Обдумав ситуацию, мы решили... собрать прессконференцию для советских и, главным образом, иностранных журналистов в нашей квартире. Кто жил в Советском Союзе, хорошо понимает, чем могла быть чревата эта затея. Понимали и мы. Помимо прямой опасности (с КГБ шутки плохи), перед нами было и немало серьезных организационных проблем. Мы с Леной тогда, в 1979 году, еще слабо владели английским, да и связей с западными журналистами, аккредитованными в Москве, не имели. Далее, надо было привлечь заинтересованных участников, которые не побоялись бы пойти на такое дело (профессор Лернер, который имел и нужные связи, и хорошо говорил по-английски, участвовать в нашем замысле не решился). Наконец, нужны были хорошо подготовленные материалы.

Люди – нашлись. Вести прессконференцию взялся Лев Улановский, близкий друг Натана Щаранского, отказник, физик. Перевод взял на себя Володя Черкасский. Сендеров и Каневский подготовили таблицы «проваливания» абитуриентов на механико-математическом факультете московского университета в зависимости от степени их принадлежности к еврейству: евреи, полуевреи, евреи на четверть... Это впоследствии произвело сильное впечатление на участников конференции. Кроме того, они составили сборник предлагавшихся на экзаменах нерешаемых задач. Наконец, мы решили раздобыть на мехмате прямые разоблачительные свидетельства.

В день, когда декан мехмата официально принимал посетителей, я положила в сумочку магнитофон и отправилась в университет. В кабинете были двое: сам декан, член-корреспондент Академии наук Кострикин, и профессор Шидловский. Я отрекомендовалась, сказала, что я мать Миши Бялого, который не поступил на мехмат, и прямо спросила: «Как вы объясняете тот факт, что победители математических олимпиад, медалисты – не могут попасть на ваш факультет?» Кострикин вспыхнул и цинично бросил: «Не допущу евреев и татар к себе на факультет!» Я была готова ко многому, но спокойно вынести такое не смогла. «Да вы же просто расист! – сказала я. – Вам приличный человек руки не подаст». – «Выйдите из кабинета!» – крикнул Кострикин. В коридоре я села на стул, чтобы прийти в себя. Рядом со мной сидела женщина с листом бумаги в руке. Напомнив себе, что я здесь не просто так, что не время предаваться чувствам, а надо собирать информацию, я спросила у женщины, с каким вопросом пришла она. Это было поразительно. Ее ответ неожиданно подтвердил пословицу: на ловца и зверь бежит. «Мне стыдно об этом даже говорить, – сказала женщина, – но в приемной комиссии мне посоветовали прийти к декану с

генеалогическим древом моей семьи. На письменном экзамене мой сын получил хорошую оценку, а вот на устном ему дали нерешаемую задачу и поставили “двойку”. Мой мальчик похож на еврея, но мы вовсе не евреи». В это время ее пригласили войти. Я оставалась на своем месте. Женщина вышла вся красная. «Ну, как?» – спросила я. «Декан посмотрел на мой чертеж и сказал, что это не имеет никакого значения, а что, по-видимому, у моего сына знания есть и он может подавать на апелляцию». Тут оказалось, что этот мальчик из Мишкиной школы. Мы разговорились. Мне понравилась эта женщина, я видела, что ей действительно стыдно и гадко было участвовать в этом низком фарсе. Я поделилась с ней своим и просила передать мне этот листок. Разумеется, я обещала, что ее фамилия нигде фигурировать не будет. Подумав, она согласилась. Забавно, что потом моя подруга Наташка Бершадская в этом древе узрела-таки подозрительный пропуск.

Моя кассета записалась прекрасно. Готовя конференцию, мы не говорили о ней ни слова по телефону. Все приглашения были переданы лично – кроме одного. Перед началом университетских экзаменов в газете «Правда» появилась редакционная статья «Вузовский конкурс», посвященная тому, как осуществляется объективный прием в высшие учебные заведения СССР. Анонимного автора этой статьи мы и пригласили по телефону, позвонив в приемную «Правды» за четверть часа до начала конференции, когда к нашему дому уже ехали иностранные журналисты. Разумеется, из «Правды» никто не явился. Когда прокрутили мою магнитофонную запись, поднялся шум. Несколько раз требовали повторить прослушивание. Сильное впечатление произвели и другие материалы.

Дело было сделано, и результаты сказались как в ближайшие дни, так и в дальнейшем. Я, однако, решила использовать добытый компромат как можно шире. Пошла на заседание центральной приемной комиссии университета, с участием ректора и всех деканов. В кабинете сидели шестнадцать ученых мужей. Когда я заявила, что пришла *сигнализировать* (именно этот, расхожий тогда канцеляризм, я использовала) о расцвете антисемитизма на мехмате, стали кричать, что это хулиганство и клевета и что я за все отвечу. Я сказала: «Сейчас я вам продемонстрирую, какая это клевета» и хотела включить магнитофон. Они запротестовали: «Оставьте кассету, мы прослушаем без вас». Разумеется, я отказалась. На следующий день моя подруга Женька Соболева, работавшая на мехмате, очень меня осуждала. Она говорила, что я вела себя безобразно. Что, в сущности, я добиваюсь того, чтобы место советского студента занял тот, кто не собирается оставаться в этой стране. Думаю, потом она изменила свое мнение. Во всяком случае, ее дочь, тоже в прошлом студентка мехмата, через некоторое время вышла замуж за мексиканца и сейчас преподает математику в Мексике. А с Женькой мы тогда разошлись – и на долгое время.

Между тем, экзамены в университете продолжались, а наши дети разбрелись по разным институтам. Дней через десять – анонимный звонок по телефону: «Говорят из университета. Все могут прийти, взять свои работы и написать апелляцию». – «С кем я говорю?» –

поинтересовалась я. – «Это не важно». – «Но все забрали из университета свои документы». – «Это не важно, можно восстановить».

Мы собрали ребят у себя дома и рассказали об этом звонке. Большинство не согласилось: они возненавидели этот «храм науки», да и не верили, что с ними не разыграют снова комедию. Некоторые совсем пали духом. И только пятеро из трех десятков «заваленных» на экзамене, включая нашего Мишу, решили попробовать. Итак, с Мишей отправились в университет Леня Полтерович, Лиля Цаленко, Илюша Ашкенази и Витя Горбаневский (сын правозащитницы, участницы чешских событий Натальи Горбаневской). У кого сдано было два экзамена, у кого – только один. Надо было досдать остальные в один день, и успех такой попытки представлялся более чем сомнительным. Так оно и вышло. Наш Миша, например, недобрал 1,5 балла до проходного. Мы с Леной сидели в приемной, ожидая неизбежного отказа. Но вышел председатель комиссии и сказал, что в связи с особо трудными условиями, в которых нашим детям пришлось сдавать экзамены, решено принять всех пятерых. Миша и Леня Полтерович, дружившие еще со школьной скамьи, стали лучшими студентами на курсе. Кострикин был отстранен от должности декана – за то, что допустил проникновение евреев на механико-математический факультет университета. Вместо него был назначен профессор Лупанов. И вдруг, уже на третьем курсе, гром среди ясного неба: Леню и Мишу представили к отчислению. По неосторожности они разбили реторту, а на замечание куратора группы ответили якобы грубостью. Нам было ясно, что такой ничтожный проступок не может быть причиной отчисления двух лучших студентов, и мы с Леной отправились к Лупанову. В кабинете сидел низенький человечек со змеиным, увертливым лицом. Мы знали уже, что воздействовать на университетское начальство в этих случаях можно только угрозой. Впрочем, начали с того, что наш сын достаточно хорошо воспитан, чтобы не грубить преподавателям, а если допустил оплошность и разбил реторту, то ведь неумышленно. Мы хотим также заметить, что Миша уже в течение четырех семестров лучший студент на факультете, а повышенную стипендию ему не дают. Мы прежде с этим не обращались, но теперь, когда нашего сына намерены отчислить, будем вынуждены поднять оба вопроса и, пожалуй, воспользуемся для этого прежним сценарием. Лупанов быстро смекнул, о чем речь, и сказал, что ведь никакого решения покуда не принято. Мы откланялись. Мишу и Леню оставили в университете. А в следующем семестре Миша получил повышенную стипендию.

Не знаю, как сложилась в дальнейшем профессиональная судьба Вити Горбаневского и Илюши Ашкенази, но Миша и Леня сегодня профессора Тель-Авивского университета, а Лиля Цаленко работает программистом в крупной фирме в Калифорнии.

Но я опять, повинуясь логической связи событий, а не их временной последовательности, забежала вперед.

Восстановив справедливость в отношении наших детей, мы не собирались предать забвению всю историю. Напротив, мы считали своим долгом передать все материалы на Запад. Лева Улановский, Валерий Сендеров, Борис Каневский и мы с Леной решили все

дублировать и с надежными людьми отправить за рубеж. Нам было понятно, что если предъявить все это на таможне, то материалы будут немедленно конфискованы. Искали в первую очередь тех, кого таможня вряд ли будет особенно тщательно проверять. В частности, я с отъезжавшей в Израиль тетей Леей тоже передавала папку. Исход – организованная КГБ автомобильная катастрофа, в которой тетя Лея погибла, а я, сопровождавшая ее в аэропорт, получила пожизненные увечья. Это случилось всего через три месяца после Мишиных вступительных экзаменов на мехмат, моей стычки с деканом и пресс-конференции. Но об этом я подробнее расскажу дальше. Здесь я только говорю, что репрессии властей, самые варварские, не заставили себя долго ждать. Сендеров и Каневский за преподавание в организованном ими Еврейском народном университете (на языке властей – «за сионистскую пропаганду под видом преподавания математики») и участие в нашей пресс-конференции были арестованы. Бела Мучник после допроса, на котором она вела себя независимо и неосторожно, была убита «случайной» машиной на пустой полночной улице – на глазах у матери, видевшей это из окна квартиры.

В 1980 году, когда я уже вышла из больницы и была относительно подвижна, мне и Мише принесли повестку на Лубянку. Мы должны были явиться в один и тот же день и час. К допросу мы основательно подготовились. Для таких целей на вооружении у правозащитников и отказников была система «Плод», составленная правозащитником Есениным-Вольпиным и доработанная нашим товарищем Владимиром Альбрехтом.

Чтобы не дать себя «расколоть», нужно следовать таким правилам. Первое: требовать точно и безошибочно, по протоколу оформленной повестки. Любая неточность может быть использована, чтоб объявить повестку недействительной и не явиться. Небрежность гебистов в ведении дел нам только на руку. Второе: показания давать обязательно. Отказаться – значит превратить себя из свидетеля в обвиняемого. Третье: воспользоваться своим правом записывать вопросы следователя и свои ответы. Четвертое: воспользоваться своим правом не отвечать на вопросы, не имеющие отношения к данному делу. И последнее: воспользоваться своим правом не отвечать на наводящие вопросы. Надо руководствоваться тремя «не»: не верь, не бойся, не подписывай.

Леня отвез нас на Лубянку и остался ждать неподалеку в машине. Мы с Мишей пошли в назначенные нам комнаты.

Обычная процедура начала допроса: назовите ваше имя, отчество и фамилию. Я сразу прошу следователя записать вопрос и отвечаю на него письменно. Это ему очень не нравится, но возразить ему нечего. «Какие у вас были связи с Сендеровым и Каневским?» – записывает следователь. «Такие, – пишу я, – какие бывают у родителей с учителями их детей». – «Бывали ли иностранцы в вашем доме?» – «То, что происходит в нашем доме, не имеет отношения к делу, по которому нас вызывали». Получив «отлуп», следователь ставит вопрос иначе: «Не встречались ли Сендеров и Каневский с иностранцами в вашем доме?» – «Это вопрос наводящий. В нем содержится утверждение, что иностранцы в нашем доме бывали. На такой вопрос я имею право не

отвечать». – «Встречались ли вы с этими преподавателями во внешкольной обстановке?» – «Да, например, на приемных экзаменах в университет». И так далее – все в том же духе. Через два часа следователь все же записывает: «Свидетельница отказывается давать показания». – «Это не соответствует действительности, – пишу я, – поскольку я только и делаю, что отвечаю на ваши вопросы, о чем свидетельствуют исписанные листы». Входит следователь, допрашивавший Мишу: «Мать дает показания?» – «Нет». – «Сын такой же. Понятно, они изучили систему “Плод”. Ну, пойдем обедать?»

Мы свободны и спускаемся к Лене, который заждался и уже терзается опасениями. На сей раз дракон тихо отполз, но обольщаться не следует. Хорошо, что мы держались системы. Бэла Мучник ее не знала. Темпераментная, прямая, она была возбуждена и обличала их, обещая так же держать себя на суде. Она им сказала, что они бросают за решетку благородных, честных людей, настоящих учителей, на суде она заявит об этом... Они поняли, что с ней будут проблемы, и убили ее. Об этом рассказывала ее мать.

Да, целями нашего движения были свобода и возможность покинуть «империю зла». А его силой была солидарность отказников. Поодиночке было не выстоять.

С семьей Лени и Милы Вольвовских, как с Идой Нудель, как со многими другими, меня свела солидарность. В нашей среде Леня был известен прежде всего как организатор сборов в Овражках и преподаватель иврита. В эти же годы он стал исполнять еврейский религиозный закон. Кира, дочь Лени и Милы, училась в одном с моим Сашей институте – в нефтяном, как, может быть, помнит читатель. Каждый из нас был мишенью для КГБ, но Леня, кроме того, был уязвим с точки зрения советского паспортного режима: его семья, имея квартиру в Горьком и, соответственно, там прописанная, проживала на съемной квартире в Москве. За это Леню оштрафовали и выслали в Горький. Там на него был написан донос, главным пунктом которого было то, что Леня назвал СССР рабовладельческой страной. Свидетель, или попросту стукач, показывал, что, будучи ведущим на пасхальном седере, Леонид Вольвовский говорил об исходе евреев из Египта и проводил связь с нынешним нашим стремлением покинуть СССР. Этого оказалось достаточно, чтобы Леню арестовали и отдали под суд по обвинению в антисоветской пропаганде.

Из Москвы в Горький выехали на суд несколько отказников. Я поехала с Семеном Абрамовичем Янтовским. Утром в купе я достала из сумки продукты и пригласила его позавтракать. Вижу – что-то ему мешает. «Я должен помолиться, – сказал он мне тихо, так, чтобы не слышали наши соседи, – и не знаю, где это сделать». – «Да здесь и молитесь», – сказала уверенно я. Семен Абрамович достал талит*, молитвенник и тфилин** и приступил к шахарит – утренней молитве. Он сосредоточенно, долго молился, и во все это время наши спутники, два русских парня, не проронили ни слова и с удивлением и даже с некоторым почтением

* Талит –накидка, в которой молятся мужчины.

** Тфилин – филактерии: коробочки со свитками Торы, которые молящиеся мужчины налагают на голову и на правую руку.

смотрели на него. Когда Семен Абрамович окончил, они стали с интересом его расспрашивать о еврейской религии, о которой прежде им даже слышать не приходилось.

В Горьком мы отправились на квартиру к Миле и Кире, где встретились с другими близкими Лени. Из москвичей, помнится, в Горький приехали Боря Бегун, сын Иосифа Бегуна, Лева Суд, Евсей Литвак и другие. Наутро, вооружившись магнитофонами, мы отправились на судебное заседание.

Выехали пораньше, чтобы занять места в зале, но когда вошли, поняли, что опоздали: зал был заполнен стариками и старухами. У многих на пиджаках и жакетах красовались значки «50 лет в КПСС». Ясно: гебисты обеспечили нужную им публику. Однако мы как-то расселись. Я затаилась в самом отдаленном месте, отдельно от всех наших, предугадывая, что нас будут изгонять из зала. Вокруг меня сидели ветераны, привезенные, конечно, для того, чтобы выражать гнев против подсудимого. И вот послышалось: «Суд идет!» Судья первым делом дает распоряжение вывести посторонних из зала, которыми, разумеется, оказываются не старики-партийцы, а наша братия, в том числе и близкие родственники Лени. Бурная сцена «удаления»: крики, толчки. Киру и Борю Бегуна милиция тащит волоком и бросает за дверьми. Я кусаю губы, борюсь с искушением закричать о нарушении конституции: надо, чтобы хоть кто-нибудь из своих остался и поддержал Леню. И вот вводят подсудимого. Некоторое время он ищет глазами близких, находит только меня и уж больше не отводит от меня взгляда. Хорошо, что я сдержалась, хорошо, что я здесь!

Судья задает подсудимому стандартные вопросы, однако ответы тотчас выходят за рамки расписанного сценария. «Имя?» – «Арье». – «Фамилия?» – «Вольвовский». И Леня немедленно заявляет: «Согласно конституции СССР, подсудимый может давать показания на родном языке. Мой родной язык – иврит, и я воспользуюсь своим правом». В зале – гул, выкрики: «Прихвостни сионизма!» и тому подобное. С трудом сдерживая раздражение, судья возразил: «Но у нас нет переводчика». – «Это ваши проблемы», – равнодушно ответил Леня. По-русски он больше не произносит ни слова. Судья в бессильном гневе кричит секретарю: «Запишите в протокол: подсудимый говорит на иностранном языке». Я тогда не знала иврит и не могла понять и оценить Ленины ответы. Но это было не главное: исход дела ведь был предрешен. Главным же было моральное превосходство подсудимого над несправедливыми судьями, его выдержка и глубокое внутреннее спокойствие.

На последующих заседаниях я уже не присутствовала: меня «вычислили» и вывели из зала. Я пыталась что-нибудь сделать, позвонила в Москву Альберту Иванову, начальнику отдела административных органов ЦК партии, который ведал «еврейскими делами» (у меня был его прямой телефон). «А что вы там делаете? – спросил Иванов. – Какое отношение вы имеете к подсудимому?» – «Он мой друг». – «Ну и что?» – «Если бы судили вашего друга, вы бы разве не стремились быть рядом с ним?» Ничего я, конечно, не добилась. Зато удалось проникнуть в зал Миле и Кире – впрочем, ненадолго: скоро их, неистово кричащих, вытащили в коридор. Оказывается, один из

сидевших в зале пенсионеров обратился к председателю суда с жалобой, что его беспокоят соседи – жена и дочь подсудимого. Судья приказал милиционеру разобраться, а тот обнаружил у них включенный магнитофон. Отчего именно так кричали Мила и Кира, я так и не поняла, но впечатление было тяжелое. Процесс длился три дня, потом двухдневный перерыв: «свободный и полномочный» суд ждал указаний свыше. Наконец был объявлен приговор: ссылка в Якутию на исправительно-трудовые работы сроком на три года. Мы все дождались, когда Леню в «черном вороне» увозили из суда обратно в тюрьму, и дружно кричали: «В следующем году в Иерусалиме!» – "בשנה הבאה בירושלים!"

В борьбу за Леню включились все евреи-отказники, множество людей за рубежом. Освободили его только в разгар так называемой перестройки.

Когда Леня находился в заключении, у его дочери Киры, тяжело пережившей эти события, начались проблемы с учебой. Дело дошло до отчисления из института, и ее мать, Мила, попросила меня о помощи. Я пошла к декану факультета, представилась Кириной теткой и сказала, что пришла вместо матери, которая сейчас больна. Я же прошу дать девочке возможность пересдать экзамен по математике. Кстати, ее отец – математик, он ей поможет подготовиться, – солгала я, рассчитывая угадать по реакции декана, знают они о Ленином заключении или нет. По всей видимости, не знали. Согласие было дано. Кира справилась с экзаменом и была оставлена в институте.

С ослаблением советского тоталитарного режима ослабевала и его репрессивная система. Пришел конец и мытарствам семьи Вольвовских: перед Песахом 1988 года Леня с семьей наконец приехал в Израиль. Но до этих счастливых дней ох как много еще предстояло всем нам пережить!

Власти проявляли одновременно жестокость, наглость и иезуитское лицемерие. Я говорила уже о некоем Андрее Ивановиче, приставленном к нам КГБ. Этот наш «куратор» не только навязывал нам «незапланированные» встречи, но и имел обыкновение время от времени наведываться к нам домой. Однажды звонит в дверь, Леня ему открывает: «Мы вас не звали». – «А я к Юдифь Евсеевне». Обернувшись, Леня кричит в квартиру: «Юля, тут пришел к тебе Клименко Андрей Иванович. Будешь с ним разговаривать?» – «Пригласи его на кухню», – отзываюсь я. На кухне Андрей Иванович заводит свой разговор: «Вот, Юдифь Евсеевна, вы молодая и здоровая женщина. Почему вы не работаете?» – «А разве вам неизвестно, что евреям в нашей стране устроиться по специальности практически невозможно?» – «Ну, что вы, Юдифь Евсеевна! Придите в больницу, и вы увидите, сколько там врачей-евреев. И мы им доверяем свое здоровье. Придите в школу, и вы увидите, сколько там евреев-учителей, – и мы им доверяем своих детей». – «Я не учитель и не врач, я физико-химик и не могу найти себе работу по специальности». – «Институт физической химии вас устроит?» – козыряет Клименко. «Вполне!» – я делаю вид, что принимаю этот блеф за чистую монету. «Я постараюсь вам помочь», – со значением произносит гебешник. «Ну, – говорю, – если вам это удастся,

с меня бутылка коньяка. А если нет – коньяк с вас». Разумеется, ни работы, ни коньяка я не получила.

Жить семьей на одну Ленину маленькую зарплату было тяжело, и родители из Израиля пытались нам помочь. Это было весьма непросто. Перевести деньги по почте было нельзя, да и всякий обмен валюты был сопряжен с опасностью. Дипломатических отношений с Израилем не было, крайне редко попадали в страну израильские туристы. И вот однажды явился к нам человек, который сказал, что он из Франции и привез нам некоторую сумму денег от моих родителей. Все это выглядело весьма загадочным. Я спросила: «Вы, значит, были в Израиле и видели моих родителей?» – «Да», – отвечал французский гость по-английски. «Но мои родители не знают французского языка и полохо говорят по-английски. Как же вы объяснились?» – «Объяснились каким-то образом». Только приехав в Израиль, я раскрыла загадочного «француза»: им оказался доктор Барух Аяль, работник министерства науки. При встрече он первый напомнил мне, как приходил к нам в Москве с французским паспортом. Будучи иностранцем, он сам предварительно обменял для нас валюту на рубли.

У нас устанавливались новые и новые контакты с зарубежными активистами, которые видели свой человеческий долг в том, чтобы помогать людям вырваться за «железный занавес», воссоединиться с близкими и жить там, где они хотят. К нам приезжали Пэм Коэн из Чикаго, Лин Сингер, Руди Аппель и Шарон Шнайдер из Лонг-Айленда, Дэвид Ваксберг из Сан-Франциско, Рита Эккер из Лондона, Бренда Бичам и Майкл Блеки из Нью-Кастла, ныне, к сожалению, покойный Эрл Каплан из Помны, что возле Лос-Анжелеса, Женя Интратор из Канады, Изя Лайбрер из Австралии, христиане Дит ван дер Маген и Питер Гурман из Голландии. Привозили нам литературу по иудаизму, словари, еврейские символы, а то и просто вещи на продажу: отказникам зачастую приходилось добывать свой хлеб насущный на самых низкооплачиваемых работах. Иные из нас пошли в дворники, кто парился в котельной, кто занимался обивкой дверей. Надо помнить, что не работать вовсе было нельзя: советское законодательство содержало статью о тунеядстве, которую власти широко применяли в борьбе с инакомыслящими. Не зря ведь меня «журил» Андрей Иванович за то, что нигде не служу.

С некоторыми из зарубежных гостей у нас установились теплые, дружеские отношения, которые поддерживались и годы спустя, когда мы наконец вырвались из-за «железного занавеса». Так подружились мы с Биллом Фриманом, атташе американского посольства по вопросам культуры, и с его женой Кэтрин. Вместе ходили на концерты – слушали, например, замечательного джазового пианиста и саксофониста Дейва Брубeka, вместе выезжали на лоно природы. Билл любил рано утром слушать голоса птиц и записывать их на магнитофон, для чего имел обыкновение выезжать на окраины Москвы. Однажды он заметил, что он не один в роще: какой-то человек наблюдал за ним. Билл подошел к нему: «Вы тоже увлекаетесь птицами? Как это здорово!» Но незнакомец оказался человеком угрюмым: «Нет, я не увлекаюсь птицами, но мне интересно знать, чем увлекаетесь вы. Как часто вы приезжаете сюда на задания?» – «Что вы! – весело отвечал Билл. – Я знаю, когда и каких

птиц можно услышать, – тогда и приезжаю». Билл и Кэтрин не евреи, но к нам на еврейские праздники они с удовольствием приезжали. Мы, в свою очередь, охотно откликались на их приглашения.

Сегодня я с благодарностью вспоминаю о той поддержке, которую оказывали нам люди из других стран. Наши зарубежные друзья составляли отчеты о положении отказников в СССР, направляли их своим правительствам. Они добивались, чтобы их правительства оказывали давление на советские власти, принуждали бы Советский Союз изменить эмиграционную политику. И для них, а уж для нас тем более, эти контакты были небезопасны. С отказниками церемонились гораздо меньше, чем с иностранцами. Многих из нас обыскивали, вызывали на допросы, сажали на пятнадцать суток «за хулиганство», шантажировали. Тем, у кого были автомобили, не раз прокалывали шины. Власти действовали вполне аморально, и не было такой лжи, такого подлога, перед которыми они бы остановились.

Однажды сидели у нас за чаем супруги Шмуклер из Филадельфии. Из наших были Лева Блитштейн, Володя Черкасский, кто-то еще. Шмуклеры фотографировали нас. Когда они возвращались в Америку, на советской таможне у них конфисковали все фотопленки, и вскоре мы нашли свое фото в так называемой «Белой книге» – «Факты и только факты». Текстовка гласила: «Под видом чаепития готовится сионистский заговор». Впоследствии я подарила экземпляр книги Шмуклерам. Текстовку, разумеется, перевела на английский.

Пришло время описать событие, перевернувшее мою жизнь. В октябре 1979 года вдова моего дяди Аминодава, тетя Лея Кац-Марголина, получила разрешение на выезд и, как я уже писала, приехала из Гвардейского (поселка в Крыму, где она жила) в Москву, чтобы отсюда лететь в Израиль. Там моя мама и Ципора ждали ее. Я говорила уже, что уезжала она от нас. Был ветреный, промозглый день, дождь со снегом. В четыре часа уже сумеречно. Мы с тетей Леей «ловили» такси вблизи моего дома. Таксисты не хотели нас брать. Казалось бы, такой дальний и выгодный рейс: до Шереметьева больше часа езды... И вдруг подъезжает машина. «Куда вам?» Я посадила тетю впереди, рядом с таксистом: там больше места, можно вытянуть ноги, расслабиться. Доедем, пройдем таможню, сдадим багаж, а к вечеру приедет проститься с матерью Юлик. Мы вели мирный и грустный разговор, поскольку предполагали, что не увидимся больше. Вместе с тем, я радовалась за Лею, с удовлетворением думала и о том, что она будет жить с моей мамой и скрасит ее одиночество после папиной смерти. Они были ровесницы.

Мы уже были на Ленинградском шоссе, когда я увидела встречный грузовик, который вдруг пересек разделительный бульвар и мчался на нас. Я не испугалась. Я ни на мгновение не допускала, что он не свернет. Но он не свернул. Удара не помню – все погасло. И только, будто сквозь сон, чьи-то слова: «Уберите труп!» Я стала соображать, что если я это слышу, стало быть, я жива, и «труп» относится не ко мне. Потом я очнулась в больнице. Это был ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии. Состояние мое было ужасно. У меня была черепная травма, сотрясение мозга, открытый перелом бедра правой ноги, открытый перелом, со смещением, левой руки выше запястья,

вывих правого плеча. Но я была жива, и меня неотвязно мучил вопрос об этих словах, услышанных будто сквозь сон. Я спрашивала медиков, что с моей тетей. Они недоуменно пожимали плечами: о ком вы говорите? Значит, Лея в больницу не поступала. Наконец я получила записку от Лени, в которой он сообщал, что тетя Лея погибла.

Как выяснилось потом, водители – грузовика и такси – не пострадали.

Из реанимации меня перевели в общую палату, в которой лежало четырнадцать человек. Меня изнуряли страшные боли, мне то и дело кололи морфий. Правая нога была на вытяжке, левая рука – в гипсе, плечо – подвешено. Я была беспомощна и нуждалась в том, чтобы кто-нибудь постоянно находился рядом. Леня и дети, наши друзья отказники не оставляли меня ни на час, учредив постоянное дежурство. Нелли Май составила график. В больнице говорили, что такого еще не видели, и удивлялись, как мои близкие и друзья проникают в палату даже в часы, когда посещения не разрешены. На самом деле, это препятствие преодолевалось элементарно: с помощью денег. Особенно много были со мной Нелли Май, Мара Абрамович, Светлана Терлицкая, Ада Львовская, Галя Гуревич, Аля Рузер, ныне покойная Ира Черкасская, Юдифь Абрамовна и Александр Яковлевич Лернеры, Аня Эссас и, конечно, мои близкие подруги Инесса и Элка. Мне приносили разные вкусные вещи, которых было не достать в магазинах, но я не могла есть и просила все класть в холодильник. Лернеры приходили по воскресеньям и иной раз приносили изделия из свинины. А в понедельник приходила Анечка Эссас, к тому времени ставшая религиозной женщиной, и приносила кошерные продукты. Если я не могла есть, то просила ее положить принесенное в холодильник. Анечка вспыхивала: «Ни за что! К тебе вчера приходили Лернеры!» Ее муж, Илья, который теперь стал раввином, сообщал моей маме по телефону сведения о моем здоровье. Мама потом мне писала, что эти систематические известия очень ее поддерживали, как бы приближая ее ко мне. Она была рада, что папе не довелось узнать о моей беде.

Я всегда с благодарностью вспоминаю, как помогла мне Люда Азарх, врач-реабилитолог. Как только это стало возможным, она заставила меня делать специальные упражнения. Они причиняли мне сильные боли, но благодаря им я в конце концов обрела подвижность. Друзья кормили меня, мыли, причесывали, меняли на мне белье. Однажды принесли телевизор, вызвавший распри среди больных (к кому его повернуть экраном?) так что Леня стал даже их вразумлять, напоминая, что телевизор, в конце концов, принесли для меня. По телевизору я услышала первые сообщения о начавшейся войне в Афганистане, которая стала далеким предвестником конца советской империи. Друзья приносили кассеты с еврейскими песнями, читали мне книги – большей частью тоже на еврейскую тему, из библиотеки «Алия». Я очень страдала физически, но не было в моей жизни другого такого времени духовной полноты. Я сблизилась и сроднилась с новыми или вчера еще малознакомыми людьми, это длилось целый год – и стало прологом моей жизни среди своих.

А пока возле меня прилепилась чужая.

На второй или на третий день моего пребывания в общей палате мою соседку слева (справа от меня были тумбочка и окно) вдруг сменила

другая. Ее звали Лида. По поводу каждого приходившего ко мне Лида расспрашивала, кто он да что, какие кассеты принес, что за книжки. Я поделилась своими подозрениями с Леной и с Александром Яковлевичем Лернером. Они же решили, что это во мне говорит свойственная всем отказникам подозрительность. Но однажды палатный врач Татьяна Петровна, закончив обход, оставила на моей тумбочке какие-то бумаги. Я не могла до них дотянуться и рассмотреть. Вижу, она выходит уже. «Татьяна Петровна! – крикнула я, – вы тут что-то оставили. «Я знаю», – буркнула доктор и вышла из палаты. Тут я догадалась, что бумаги предназначались для нас. Я сказала Лене, чтоб посмотрел. «Это больничная карточка твоей соседки, – сказал тихо Леня. – И указано место работы и должность: инспектор КГБ».

Татьяне Петровне, как и многим в больнице, были известны мои обстоятельства, и она решила всех нас предупредить. Леня отправился к ней в кабинет с благодарностью. Это ее встревожило. «Я вас прошу, Леня: никогда не входите ко мне, когда я одна». Она опасалась, конечно, что ее обвинят в политических связях с нами. Мы не остались в долгу и не раз подносили Татьяне Петровне подарки – благо, такая форма благодарности была широко принята в советских больницах.

«Лида» не оставляла меня. Бывало, меня отпускали на несколько дней домой. Когда же я возвращалась, моя любознательная соседка всегда оказывалась на своем месте. «Зачем ты здесь?» – спрашивала я, не скрывая своих чувств. «Для укрепления своего здоровья», – отвечала соседка и начинала расспрашивать о моем самочувствии. Затем вдруг – неуклюже: «А как Александр Яковлевич Лернер поживает?» – «Ты спрашиваешь, чтобы донести начальству?» – отбивала я. Она хмурилась: «Ты что-то не то говоришь, я тебя не понимаю». – «Прекрасно понимаешь». Опыта общения с агентами ГБ у меня уже было достаточно.

Некоторое время спустя моя близкая подруга Наташа Магазанник рассказала мне, что Аню Трактовенко, с которой она дружила и которую я знала лишь как очень красивую женщину, вызывали в КГБ и выпрашивали, что думают отказники по поводу катастрофы, в которую я попала. Не говорят ли, что это дело рук КГБ? У нас с Леной, конечно, такие подозрения возникли сразу: уж больно почерк знаком (вполне в духе того, как рассказывает о расправах карательных органов академик Сахаров в своих воспоминаниях). Но – доказательства? Только догадки. Да, Юлик, получив вещи матери, не нашел среди них материалов нашей прессконференции, которые мы пытались переправить с тетей Леей. Но ведь в любом случае эти документы должны были заинтересовать КГБ, и это не аргумент. Где взять силы, чтобы начать борьбу? Иск (гражданский) подал только Юлик, – чтобы получить материальную компенсацию.

Лишь постепенно разрозненные факты стали складываться в более или менее ясную картину, которая спустя несколько лет получила завершение. И тут следует рассказать о Марке Кочурине, муже моей подруги Инессы.

Мы дружили с ними. Марк и Инесса участвовали в наших, часто многолюдных, загородных прогулках, в конкурсах еврейской песни в лесу

на станции «Овражки», слушали доклады об Израиле, бывали на встречах, где собирались многие отказники, были в нашей компании, когда мы отмечали еврейские праздники. Участвовали и в описанном мной загородном пикнике по случаю Сашиной бар-мицвы. Кстати, тогда Марик тоже получил «дырку» в правах. Он занимал довольно ответственный служебный пост: был главным энергетиком шинного завода. Однажды (это было в начале 80-х годов) его попросили зайти в отдел кадров. В комнате, которую почему-то покинули все сотрудники, сидел плотный человек средних лет. Он солидно представился Марику работником органов госбезопасности и сказал, что хочет поговорить с ним о его друзьях – Юле и Лене Бялых. «Что вы можете о них сказать?» Опыта общения с агентами охраны у Марика не было. Он был обескуражен и дал втянуть себя в разговор. Прежде всего, он решил, что должен наилучшим образом аттестовать нас: «Они замечательные люди, мы очень дружим. У них вообще очень много друзей». – «Вот-вот, – подхватил гебешник, – вы и расскажите об этих друзьях». И Марик стал рассказывать, а тот все записывал. Это продолжалось более часа. При расставании гебешник сказал: «Мы вас очень просим помочь нам выявлять наиболее активных и опасных для нашего общества людей. Это ваш гражданский долг». Марик, который уже наговорил много лишнего, не нашел в себе сил отказаться. И началось. Как он потом нам рассказывал, завербовавший его КГБ не слишком с ним церемонился. Не раз его останавливала автоинспекция, требовала права, а потом оказывалось, что его требует к себе все тот же вездесущий Андрей Иванович Клименко. Главное же, его мучило чувство, что он предает нас, а открыться не было сил. Наконец он сделал свое признание через Инессу. «Марик очень страдает, – сказала она, – он не знает, как выйти из этого. Хотя ничего плохого он про вас не говорил!» Мы с Леной решили поговорить с Мариком сами. Мы сказали ему: «Все, что ты знаешь от нас, знают и органы. Мы ничего не скрываем, наш метод – гласность, и мы сами иногда умышленно оповещаем их о своих акциях. Того же, что им не следует знать, не знаешь и ты. Не казись. А лучше наберись мужества и скажи им твердо, что жизнь и деятельность твоих друзей такова, что не может интересовать органы. Откажись от контактов. Они давят на тех, кто их боится, сами же они боятся разглашения и оставят тебя».

Но Марик до самого нашего отъезда так и не нашел в себе сил сказать гебешникам «нет». Я же не хотела оставлять это так и написала письмо тогдашнему шефу КГБ Андропову. Я решила разыграть фарс и жаловалась на Клименко. Ваш сотрудник, писала я, вербует советских граждан и натравливает их на друзей. Это, вероятнее всего, приведет к обратному: завербованные сами захотят уехать, чтобы избавиться от нравственных страданий. В этом, хоть и фарсовом письме, я называла вещи своими именами. Явился Андрей Иванович. Слышу, как Леня говорит ему в дверях обычное «я вас не приглашал» и как тот отвечает заученным «а я к Юдифь Евсеевне», что Леня парирует: «а она вас тоже не приглашала». Тем не менее, настырный гебешник все-таки проникает в квартиру. Явился он, как всегда, с угрозами: вы готовите демонстрацию; если выйдете, пеняйте на себя. Но на сей раз я не осталась в долгу. «Знаете, я написала на вас «телегу» Андропову. Вот,

читайте. Вы пытаетесь натравить на нас наших друзей. Думаете, вам это удастся?» Он покраснел, читал и перечитывал каждое слово. Сообразив наконец, что бояться ему нечего, пустился по обыкновению в свои иезуитские увещания: «Ах, Юдифь Евсеевна, Юдифь Евсеевна, голубушка вы моя... Я хлопочу, чтобы вашу маму впустили сюда, а вы на меня жалуетесь». – «Да кто вам сказал, что моя мама этого хочет?» – «Но вы же говорите, что страдаете от разлуки?» – «А кто вы такой, чтобы мы вам доверяли заботу о нас? Я вас освобождаю от этих хлопот».

Мы были уже в Израиле, началась «перестройка» в Советском Союзе. Марика оставили в покое его преследователи, он даже стал о них забывать. Но однажды идет он по двору своего завода и натывается на знакомую личность. «А, Марк Георгиевич, добрый день!» – Это был все тот же пресловутый Андрей Иванович. – «Ну, как поживает Юдифь Евсеевна? У вас есть о ней сведения? Вы в контакте?» – «Нормально поживает. Моя жена с ней переписывается, могу дать адрес». – «Адрес узнать несложно. Да вот покалечили мы ее...» – сказал Андрей Иванович как будто с раскаянием. «Как понимать ваши слова?» – спросил оторопевший Марик. Но тот молча ушел.

В 2002 году я была в Москве, и Инесса настояла, чтобы я прочитала там написанную ею книгу воспоминаний. Я недоумевала: почему такая срочность? Прочитав, поняла: целая глава в этой книге посвящена нашей семье. Там-то и нашла я описание этой встречи на заводском дворе. Мне стало не по себе: наши догадки вдруг получили свидетельское подтверждение. Теперь приходит на память и многое другое, что тогда, в запале борьбы, мы отбрасывали от себя с презрением. Помню, как начальник всесоюзного ОВИР (отдела виз и регистраций) цинично сказал мне: «В конце концов все вы уедете, но уедете нищими и больными». Поистине, бюрократическая и карательная система СССР активно работала на это. Одних убили, других, как я, искалечили, третьим, как мой Леня, разрушили здоровье: три инфаркта, смерть в возрасте 63-х лет. Нет, и за давностью лет такое не прощается.

Освободиться от их надзора было практически невозможно. Однажды, когда я разговаривала по телефону с Наташей Щаранской, связь прервалась, и наш телефон умолк – на полгода. На наши жалобы нам отвечали, что мы использовали телефон в антисоветских целях. Так что пришлось бегать на улицу, звонить из автомата. Иной раз позволяли воспользоваться их телефоном соседи. Их номер давали своим друзьям и мы. Впрочем, узнав, что нас вызывают к телефону «матерые антисоветчики», соседи нам отказали. Но вот полгода спустя наш «умерший» телефон загремел, как весенний гром. В трубке – елейный голос Андрея Ивановича: «Хочу поздравить вас с двумя событиями. Во-первых, с подключением телефона...» – «А что, – спрашиваю, – наше наказание кончилось?» – «А во-вторых, с поступлением вашего сына Саши в институт». Он все всегда знал. Мы находились «под колпаком» практически постоянно, как-то привыкли к этому – и боролись, старались использовать всякую возможность, чтобы придать нашей борьбе гласность.

Особенно ценными были для нас контакты с израильтянами, но они появлялись в Москве нечасто – разве что по каким-то особым делам или

в связи с общественными и спортивными событиями. В середине восьмидесятых израильская команда принимала участие в международных соревнованиях по легкой атлетике в новом спорткомплексе «Олимпийский», и отказники закупили более 100 билетов. Мы заранее заготовили израильские флажки. Настроение было приподнятое. Приходим на свою трибуну, а на моем месте сидит все тот же Андрей Иванович. «Что, – говорю, – тоже интересуетесь спортом? Встаньте-ка, это мое место». – «Я знаю, что это ваше место, – сказал он, поднимаясь. – Хочу вас, Юдифь Евсеевна, предупредить: никаких контактов с израильтянами!» – «Это вас не касается!» – сказала я. Он ушел. Команды выступали, перемещаясь, в различных отсеках комплекса. Когда израильтяне оказались напротив нас, мы подняли заготовленные флажки и один из наших крикнул им по-английски: «После выступления – здесь!» Мы, конечно, не собирались беседовать с ними в этом открытом, неуютном месте, а хотели только передать мой адрес в надежде, что они приедут. Спортсмены нам помахали руками. Надо правду сказать, спортивные достижения этих ребят были невысоки, да скорее всего, они и не были спортсменами. Когда кончились соревнования, мы с ними наконец встретились. Но лишь только я протянула руку с запиской, как на нее тяжело легла огромная лапа «куратора». «Я же вас предупреждал», – негромко, но отчетливо произнес Андрей Иванович. В голосе гебешника звучало нескрываемое удовольствие.

Общее дело, совместная борьба порождали новые связи, которые зачастую становились дружбой на всю жизнь. 20 января 1980 года, лежа в больнице после автомобильной катастрофы, я вновь услышала имя Иды Петровны Мильгром, матери Натана (Толи) Щаранского, которую прежде мне довелось видеть у зала суда во время процесса над ним. Друзья рассказали мне о последних событиях в семье Щаранских. Толя, с которым я тогда не была знакома, находился в тюрьме, и отказники решили продемонстрировать властям свою солидарность с ним, отпраздновав публично его день рождения. Ида Петровна с мужем Борисом Моисеевичем жили в то время в подмосковной Истре. Утром 20 января они отправились в Москву: Ида Петровна – к Лернерам, у которых и должно было состояться торжество, а Борис Моисеевич к своей сестре, жившей в другом районе Москвы. Вечером они должны были встретиться у Лернеров. В транспорте Борису Моисеевичу стало плохо, и он скончался – в день рождения своего сына, так и не попав на готовившееся торжество. Мое знакомство с Идой Петровной состоялось позже, когда я вышла из больницы. А с Натаном в России нам так и не суждено было встретиться, хотя еще с лета 1975 года я и мои близкие испытывали к нему чувство самой горячей благодарности. В то лето Лернеры предложили нам снимать вместе дачу в подмосковном селе Дудкино. В один из дней, когда мы с Леней были на работе в Москве, на дачу приехала группа отказников. Был среди них и Натан Щаранский. Дети рассказали нам, что гости ходили на пруд купаться, взяли и их. И там наш Саша чуть было не утонул. Стал кричать, звать на помощь. Первым, кто к нему бросился, был Толя Щаранский. Он и спас нашего сына.

А Иду Петровну я, как уже говорила, увидела впервые в 1978 году, в группе отказников, собравшихся у здания суда на Серебреннической набережной, где шел процесс над «шпионом, изменником родины» Натаном Щаранским. Я сразу заметила женщину с прямой осанкой и красивой седой головой. Зная, по какой статье судят ее сына и что ему грозит, я была поражена ее выдержкой и деятельной готовностью к борьбе. Тут же присутствовал академик Андрей Дмитриевич Сахаров, которого я тоже видела впервые. Ида Петровна и Сахаров добивались, чтобы милиция пропустила их в здание суда – ведь официально заседание считалось открытым. Но блюстители порядка заявили, что в зале нет мест. Мы стали требовать, чтобы к нам вышли судебные чиновники. Переговоры привели только к тому, что Иде Петровне предложили выступить в качестве свидетеля, от чего она отказалась. В зал удалось попасть только Толиному брату – Лене, да и то он присутствовал лишь при заключительном слове обвиняемого. Что и как было в суде, описано в книге Семена Янговского «К истокам», и я не буду повторять его рассказ. Приведу только некоторые моменты из книги – о том, что происходило на улице, и дополняющие то, что запомнилось мне.

«Ограду и вход в здание охраняли милиция и кагебешники. Сахаров вел длинный разговор с кагебешником, одетым в штатское, о праве родных и его, как академика, присутствовать на судебном заседании – во всяком случае, при чтении приговора. Тип, с которым разговаривал Андрей Дмитриевич, всякий раз отлучался для выяснения такой возможности, надолго пропадал, а, возвращаясь, всякий раз сообщал, что просьбы матери Щаранского и Сахарова отклонены. Между тем, время судебного заседания приближалось к концу. Стало известно, что суд удалился на совещание и скоро вынесет приговор. Просьбы Иды Петровны и Сахарова становились все более настойчивыми. Андрей Дмитриевич сильно разволновался и требовал от появившегося полковника милиции пропустить их для выслушивания приговора суда. Но разрешения не поступало. Наконец публика зашумела. Оказалось, что суд уже закончился и Толю уже вывозят в «черном вороне» за ворота. Поднялся невероятный шум, раздавались крики «Толя! Толя!». В этот момент Ида Петровна лишилась чувств и упала. Сахаров во весь голос кричал, обращаясь к стоявшему рядом полковнику милиции: «Фашисты! Вы – фашист».

Я и некоторые другие женщины хлопотали вокруг Иды Петровны, приводя ее в чувство. Леня Щаранский взобрался на возвышение и рассказал о том, чему сейчас был свидетелем: Толя хотел говорить на иврите, но ему запретили, и он говорил по-русски...

Выйдя из больницы, еще передвигаясь на костылях, я не стала сидеть дома. На квартире Александра Яковлевича Лернера, где собирались наши, я повстречала Иду Петровну, и тут уж мы познакомились. Она сразу произвела на меня впечатление человека чрезвычайно активного, которому до всего есть дело. Это впечатление подтвердилось и усилилось в последующие годы нашей дружбы. Меня поражала ее память: огромное количество имен, адресов, телефонов. К ней можно было обращаться, как к справочнику: безошибочный ответ следовал тут же. Несмотря на недавнюю смерть мужа, на заключение сына, она не

утратила интерес и любовь к жизни. Мы тесно сошлись. Ида Петровна, проницательная, мудрая, полная добра и участия, на время заменила мне мою маму, тогда еще такую далекую.

Она делала все, чтобы добиться освобождения Толи. Но наотрез отвергала все попытки КГБ различными посулами склонить ее к тому, чтобы она уговорила сына признать свою «вину». Однажды к ней был направлен даже один из отказников – с заготовленным письмом. В этом письме она якобы просит Толю сделать это, с тем чтобы в дальнейшем, на свободе, объявить, будто он признался под давлением. Выгода КГБ в этом случае состояла в том, чтобы «признание» было сделано, а уж никакие дальнейшие опровержения не устранят произведенного эффекта. Таких посланцев, даже из числа вчерашних друзей, она с гневом прогоняла.

В Истру не было доступа иностранцам, и там Ида Петровна не могла встречаться с теми, на чью помощь рассчитывала. Поэтому мы с Леной устраивали эти встречи у нас дома. Ида Петровна стала фактически членом нашей семьи: часто оставалась у нас ночевать, участвовала в наших прогулках, не раз мы отдыхали вместе на Клязьминском водохранилище. Втроем мы ходили в театр на Малой Бронной, куда обычно приглашала нас ее племянница – актриса этого театра Люда Хмельницкая. Ида Петровна вырастила Люду, мать которой погибла в автомобильной катастрофе. Люда ее горячо любила. Сын Леня и племянница Люда были главной опорой Иды Петровны. Но помогали ей очень многие, считая это делом чести и своим нравственным долгом: Александр Яковлевич и Юдифь Абрамовна Лернеры, Наташа и Гена Хасины, Нелли и Аркадий Май, Римма Якир, Майя Фульмахт.

На свидания с Толей Иду Петровну сопровождали, как правило, Люда и Леня. Когда от Толи приходили письма, Ида Петровна надолго закрывалась в одной из наших комнат. Письма эти были редкими – и длинными, иной раз около тридцати страниц. В них было много подтекста и инуюсказательности, из них надо было вычитать подлинный смысл и содержание, утаенные от глаз цензуры и предназначенные для нас. Ида Петровна как бы расшифровывала письма сына и пускала в большой мир, где им придавалась гласность: отказники их копировали, передавали из рук в руки, переправляли в западную печать. Связь с иностранными дипломатами и журналистами поддерживал хорошо владевший английским языком Леня. Семья Щаранских была дружна, монолитна, и тон в ней задавала Ида Петровна. Познакомившись и подружившись с ней, я тоже включилась в борьбу за Толю. Мы вместе писали письма в советские инстанции и за рубеж, ходили на прием к уже упоминавшемуся мной Альберту Иванову, в МВД, в управление лагерями – ГУЛАГ. Чего мы добивались? Казалось, несбыточного: освобождения Натана Щаранского, одного из самых опасных, с точки зрения властей, государственных преступников. Но видимая невозможность освободить Толю ни на минуту не останавливала Иду Петровну, а все мы вокруг чувствовали, что у нашей борьбы есть перспектива: дракон советского государства все меньше казался нам страшным и непобедимым. В 1982 году умер главный «кремлевский старец» Леонид Брежнев, страна затаилась в ожидании перемен. Крепли и наши надежды.

Между тем, власти подвергали письма Щаранского свирепой цензуре, а то и не пропускали вовсе. В 1983 году Толя, протестуя против этого, объявил бессрочную голодовку. Сведения от него совсем перестали поступать. Шли недели, месяцы. Мы делали, что могли. Власти обращались с Идой Петровной, как с матерью шпиона. Ей отказывали даже в информации о состоянии сына. Где он – в камере или в больнице? Другая на ее месте плакала бы, умоляла. Но Ида Петровна держалась с таким достоинством, что выдавшие виды чиновники испытывали к ней невольное чувство уважения. А время шло, и можно было предположить все, что угодно, – даже то, что Толи нет в живых. Место его заключения нам было известно: чистопольская тюрьма, под Казанью. Значит, надо ехать в этот Богом забытый Чистополь и попытаться выяснить что-нибудь на месте. Я предложила Иде Петровне сопровождать ее – это было совершенно естественно, – и вечерним поездом мы выехали в Казань.

Прибыли рано утром. Как только открылась прокуратура, мы туда. Прокурор не скрывал своей неприязни. Он заявил, что дело Щаранского в ведении московского управления КГБ. Впрочем, мы можем обратиться в чистопольскую городскую прокуратуру, добавил он, видимо, будучи уверен, что отправляет нас по безнадежному адресу. Однако Ида Петровна ухватилась за это. Получив у него письмо на официальном бланке, мы отправились в Чистополь на самолете. Сорок минут лета, жестокой болтанки на «кукурузнике» измучили меня, а Ида Петровна – как ни в чем не бывало. Нас высадили в чистом поле, по которому морозный ветер мел поземкой. Где город? Куда идти? Вокруг ни души. Двинулись наугад и наткнулись-таки на жильё. Отворила нам средних лет женщина, не ведавшая, что мы враги и что с нами надлежит держать ухо востро, а потому обошедшаяся с нами, как люди обходятся с путниками. Вскоре приехал пикап. Иду Петровну посадили в кабину, рядом с водителем, а я полезла в кузов. Эта поездка «с ветерком» обошлась мне жестокой простудой. Водитель взыскал с нас недешево, но доставил к гостинице в центре города. Мы уже не поспевали в этот день к местному прокурору, да и я чувствовала себя скверно. Мы заполнили гостевые карточки, указали, как требовалось, и цель приезда: посещение заключенного Щаранского. Женщина-администратор, просмотрев написанное, сказала, что в гостинице свободных номеров нет и что мы должны уйти. Тут я не выдержала и, указывая на Иду Петровну, воскликнула: «Неужели вы выгоните семидесятилетнюю женщину на такой мороз?!» В лице администратора что-то дрогнуло. Выдержав тяжелую паузу, она разрешила нам переночевать в холле. Как выяснилось потом, в гостинице, кроме нас, постояльцев не было.

На следующее утро, пораньше, чтобы не попадаться на глаза сменному администратору, который мог оказаться еще менее покладистым, мы оставили вещи в холле и поспешили к городскому прокурору. Понятно, что мы не были записаны на прием, и вообще было ясно, что на доброе отношение нам рассчитывать не приходится. Так оно и вышло. «Ждите», – сказала секретарь, но тут же предупредила, что нас могут и не принять. Мы ответили, что не уйдем отсюда, пока не выясним, в каком состоянии находится заключенный Щаранский. Если нас не могут проинформировать здесь, то мы просим о встрече с

начальником тюрьмы. В этой приемной мы просидели полдня, но прокурор нас все-таки принял. Конечно, к этому времени он проконсультировался со всеми инстанциями. Он сказал Иде Петровне: «Может быть, вы, как мать, могли бы помочь уговорить его выйти из голодовки». Это была благая весть: Толя – жив! И борется. Едва скрывая нахлынувшую радость, Ида Петровна ответила: «Безусловно, я сама хочу этого, потому что опасаясь за жизнь сына, но для этого у меня должна быть с ним связь». Слово было за прокурором, а он, видать по всему, боялся принять на себя какую-либо ответственность. Вся эта история вообще хорошо иллюстрирует, как прогнил и разваливался на глазах советский режим и все его властные структуры. Этот облеченный немалой властью человек не нашел ничего лучшего, как посоветовать нам подойти к зданию тюрьмы и на месте попробовать связаться с начальством. А он, дескать, посодействует. «Но не могли бы вы лично позвонить в тюрьму?» – спросила Ида Петровна. Прокурор промямлил что-то невразумительное, из чего мы поняли, что с кем-то он уже переговорил.

По дороге в тюрьму мы зашли на почту и позвонили оттуда в Москву: Ида Петровна – сыну, а я своему Лене. Мы рассказали, где были, что слышали, с кем говорили и просили, чтобы эти сведения были переданы в Нью-Йорк и Наташе, жене Толи, в Израиль. Наши звонки в значительной мере предназначались для тех, кто прослушивал телефоны, они были средством борьбы за Толю: надо было показать гебистам, что дело имело и будет иметь широкую гласность.

Тюрьма. Мы сказали солдату на проходной, что пришли встретиться с начальником Романовым и что нас прислал прокурор. Солдат пропустил во двор. Здесь каменные стены, часовой с автоматом и ни одной скамьи. Ждали долго, бесконечно. Наконец я попросила охранника принести стул. Он принес металлический стул, ледяной на морозе, но Ида Петровна все-таки села. Увы, мы так и не дождались Романова в этот день: явился охранник и сказал, что начальник тюрьмы сегодня занят и сможет встретиться с нами только завтра. По дороге в гостиницу мы снова зашли на почту, позвонили на этот раз только моему Лене. Едва я успела сказать, что встреча состоится завтра, как разговор оборвался. Измученные, мы поплелись в гостиницу.

В гостинице наши вещи остались на месте. Нам даже сказали, что имеется свободный номер – правда, без отопления и воды. Мы попросили дежурную дать нам еще одеяло, и она, не зная, кто мы такие и как надлежит с нами обращаться, не отказала.

А наутро к нам вышел начальник тюрьмы и сухо сказал, что Ида Петровна может написать сыну и попробовать убедить его прекратить голодовку. «Только записку сначала прочту я», – добавил он.

Ида Петровна написала Толе, что мы находимся рядом с ним. Она не просила его прекратить голодовку – она писала, что не может жить, когда знает, что он находится в критическом состоянии, и заклинала сделать все, чтобы выжить. «Я жду от тебя ответа, – писала она, – и буду стоять здесь, пока не дождусь». Как он получил записку и что было в тюрьме, Толя рассказывает в своей книге, повторять я не буду. А когда пришел ответ, Ида Петровна, державшаяся до того с непреклонным мужеством, вдруг стала сползать по стене, и я едва успела подхватить ее. Толя

писал матери, что только ее ответное письмо послужит ему знаком к прекращению голодовки. Немного придя в себя, Ида Петровна написала ему. О том, что эта записка передана по назначению, сказал нам Романов. А ответит на нее заключенный Щаранский в письме, которое разрешается ему написать один раз в месяц.

Нужно ли говорить, что я, неотлучно находясь рядом с Идой Петровной, разделяла с ней все переживания, каждый момент этих драматических обстоятельств? Я, кажется, кожей помню морозный ветер и холод тюремных стен, напряжение долгого ожидания, острое беспокойство, непередаваемое волнение, когда глаза пробегают по строчкам письма, которое уже не чаяли получить. Каждый шаг был нашим совместным шагом, мы все обдумывали и решали вместе, и я была счастлива, что необходима Иде Петровне, что я незаменима. Как странно, что Толя в своей книге ни разу не упоминает моего имени. Известность, политическая карьера, как видно, ослабляют такое заурядное человеческое чувство, как благодарность.

На следующий день мы сели на теплоход и по Каме, которая не замерзает зимой, добрались до Казани. Оттуда – поездом в Москву. Мы были счастливы.

С той поры начался новый этап в переписке Натана Щаранского с матерью, с теми, кто был на свободе. Через некоторое время Толе предстояла отправка этапом в Пермский лагерь. Он попросил Иду Петровну привезти ему некоторые вещи, в основном книги, а другие взять у него. Лагерь – это уже не тюрьма, кое-какой быт организовать там можно. Мы с Идой Петровной стали снова собираться в Чистополь, купили билеты на поезд. Но, видно, госбезопасности была негодна эта моя поездка, как и вообще любые солидарные действия отказников. Ни с того ни с сего мой Миша, тогда студент последнего курса университета, получил призывную повестку из военкомата: через неделю, именно в день намеченного нами отъезда, явиться с вещами. Оснований для того, чтобы призвать на военную службу студента-отличника, который к тому же прошел в рамках университета все положенные военные сборы, не было никаких. Для моего же сына и для всей нашей семьи это могло означать пожизненный отказ на выезд из страны: клеймо «секретности» было несмываемо. Что же делать? Повестку принесли, когда у нас дома были Ида Петровна и Майя Фульмахт, мать моей будущей невестки. Ясно, что с Идой Петровной ехать я не могу, потому что надо принимать срочные меры. Майя вызвалась ехать в Чистополь вместо меня. Через неделю они отбыли.

И об этой, немаловажной для него помощи – на сей раз со стороны Майи Фульмахт – Толя Щаранский не обмолвился в своей книге. Не допускаю, что Ида Петровна не рассказывала ему об этом.

Мы же с Леней стали думать, что делать нам. Первое, что пришло в голову, – обратиться к медицине, и мы пришли за помощью к нашему другу доктору Норберту Магазаннику. Норберт велел передать Мише, чтобы он, сдавая на анализ мочу, наколот себе палец и погрузил его в банку. Конечно, медики из военкомата пошлют его на повторный анализ, а он сделает то же самое. Миша последовал совету. Наличие крови в моче можно было установить даже на глаз. Но анализ ее не обнаружил! А мы потеряли два дня. Тогда мы решили пробиться к начальнику

московского гарнизона. Никто из воинского начальства не принимал нас – все переговоры велись с проходных, по телефону. Нас отсылали от одного к другому, но ни один ничего не решал. Единственная персона, приема у которой нам удалось добиться, был начальник Октябрьского райвоенкомата. Предвидя, что нам снова потребуется прибегнуть к общественному мнению и гласности, мы захватили сумочку с магнитофоном. Начальник, по-видимому, был заранее извещен, с кем ему предстоит встретиться, и смотрел в оба. Когда Леня включил магнитофон, он крикнул: «А вот это вы уберите! Хотите меня на чем-то поймать?» Леня смутился, но тут же взял себя в руки: «Да, конечно, хочу. И поскольку это не противозаконно, я буду записывать наш разговор». Начальник замахал руками. «Видимо, с вашим сыном произошла ошибка, – сказал он. – Математики нам не нужны. Так что можете считать, что повестки не было».

Так мы имели еще один счастливый случай убедиться в том, что, вчера еще несокрушимая, репрессивная сила пятится и отступает, если ее не боишься и действуешь решительно. Подтверждений этому в дальнейшем находилось все больше. В 1986 году заключенного Щаранского, перед тем, как «обменять», приехали в московскую тюрьму «Лефортово». Толя провел в этой тюрьме совсем немного времени, но здесь остались дорогие и памятные для него вещи – спутники его заключения. Только одну, книгу псалмов, с которой Толя был неразлучен все эти годы, ему, после того, как он лег на снег перед посадкой в самолет, разрешили взять с собой. Потом был обмен на берлинском мосту – и видеокассета, которую мы все с Идой Петровной смотрели дома у Наташи Хасиной. Оказавшись в Израиле, Толя по телефону просил Иду Петровну выручить памятные вещи. Ида Петровна, в свою очередь, просила моего Леню помочь ей. Она с сыном и невесткой Раей и мы с Леней – вместе поехали в «Лефортово». Тамшний начальник нам заявил, что заключенного Щаранского в его тюрьме не было. «Помилуйте, ведь только на днях его от вас увезли», – говорили мы. Но тот твердил свое: не знаю, не ведаю, не было.

Тогда мы поехали на улицу Огарева, в министерство внутренних дел. Изложили свое дело секретарю. И через некоторое время получили ответ: поезжайте в тюрьму, получите. Снова едем в «Лефортово», где теперь уж другой офицер отдает нам все вещи Щаранского.

Вскоре Ида Петровна с семьей сына Лени подала заявление на выезд, и уже полгода спустя все они были в Израиле. Ида Петровна позвонила моей маме. Они были знакомы заочно: по письмам, по телефону, по записям голосов на магнитофонных кассетах, которыми мы с мамой обменивались. Теперь они встретились, подружились. Я стала получать по почте фотографии: Ида Петровна, Толя с семьей, моя мама.

Конечно, мы встретились с Идой Петровной сразу по нашем приезде в Израиль. Мы оставались друзьями, часто навещали друг друга. Ида Петровна поселилась в иерусалимском районе Рамот, и Миша мой жил в Иерусалиме, в районе Неве-Яаков. Ездили в гости друг к другу. Одна их таких поездок стоит того, чтобы ее описать.

Мама, как многие старые люди, перенесла операцию по поводу катарракты. Операция прошла неудачно, мама не видела оперированным глазом. И вот в одну из суббот мы втроем, как у нас уже

было заведено, отправились в Иерусалим. Обычно мы заезжали сначала в Рамот, к Иде Петровне, а потом вместе ехали к Мишке. Около перекрестка Шимшон (Самсон) Леня вдруг потерял управление, и мы на большой скорости вылетели в кювет. К счастью, пострадала только машина, но мама страшно испугалась и была в шоке. Мы вызвали амбуланс, и я поехала с ней в приемный покой больницы Хадаса. Леня остался ждать буксир. Конечно, и Мишка, и Ида Петровна очень волновались и вскоре появились в больнице. Тем временем мама успокоилась, у нее спала повязка с оперированного глаза, и вдруг она воскликнула: «Я вижу этим глазом!» Все были счастливы таким неожиданно счастливым исходом. Ида Петровна, давно уже плохо видевшая, сказала: «Пожалуй, мне тоже бы надо попасть в такую аварию».

В 1996-м, когда умер мой Леня, на шиву Ида Петровна приехала с Толей. Здесь мой сын Саша сыграл со Щаранским шахматную партию. Но с Толиным возвышением на израильской политической и социальной лестнице стала как-то слабеть наша связь с Идой Петровной. С грустью говорю: она все больше превращалась для меня в «королеву-мать», и ее потребность бывать со старыми друзьями, видимо, оттеснялась всякого рода представительством. Теперь Ида Петровна жила в престижном районе Катамон-Центр, и там я побывала у нее только однажды: как-то все это становилось сложно и принужденно – с обеих, пожалуй, сторон. Но на 90-летие Иды Петровны мы с мамой были, конечно, приглашены. Торжество состоялось в пышном банкетном зале.

Когда Иды Петровны не стало, на шиве я спросила Толю, не оставила ли она воспоминаний. Ведь она обладала замечательным слогом, а главное – ей было о чем рассказать. Такая книга могла бы стать заметным явлением в истории нашего движения и вкладом не меньшим, чем тот, который внес Толя. Он ответил, что ничего об этом не знает. На шиву приехали многие известные люди. Толя представил меня и мою троюродную сестру Дину Бейлину, в свое время также активно борющуюся за его освобождение, человеку, лицо которого показалось мне знакомым. Он оказался Владимиром Гусинским – могущественным российским олигархом. Толя сказал: «Эти две женщины принимали участие в разрушении “железного занавеса”». – «Считайте, что ваши труды пропали даром», – сказал Гусинский. Я возразила: «Неужели с перестройкой в Россию не пришла свобода?» – «Для некоторых – не пришла», – отвечал он.

Я задумалась над этими словами. При всех жертвах, которые мы, отказники, принесли свободе, мы видели ее очень по-разному: одни – в национальном и религиозном самоопределении, другие – в уходе от какой бы то ни было идеологии и в космополитизме. Вероятно, Гусинский имел в виду нечто третье – такую свободу, которая давала бы каждому возможность реализовать свои способности в России, в стране, с которой люди нашего круга уже не связывали никаких надежд. Было бы несправедливо утверждать, что никто из нас не испытывал колебаний или, в некоторых случаях, даже мучительного раздвоения между стремлением покинуть «страну рабов, страну господ» – и глубокой привязанностью к миру ее культуры и природы. Здесь время рассказать

о судьбе московского генетика, профессора Давида Моисеевича Гольдфарба, который, будучи отказником, в движении участвовал пассивно и, по существу, боролся лишь за свою духовную свободу.

Когда я и Леня с ним познакомились, это был уже тяжело больной человек, инвалид: еще на фронте лишился ноги, а теперь, на почве диабета, у него начиналась гангрена второй. Собственно говоря, основным мотивом у нас с Леной было помочь Давиду Моисеевичу выстоять – и физически, и морально. Взаимопомощь была главным принципом в деятельности отказников, тут же был человек, который нуждался в самой серьезной и разносторонней поддержке. Бытовые обстоятельства профессора Гольдфарба выглядели вполне благополучно. Да, его уволили из института, когда он подал заявление на выезд, однако квартира, дача, машина с ручным управлением, продовольственные «пайки» инвалида войны – по советским меркам, такая жизнь представлялась вполне обеспеченной. Но есть мерки иные: те, которые мы вправе сами применить к своей жизни, к своему человеческому и гражданскому статусу. Получив отказ на выезд, Давид Моисеевич не мог примириться со своим положением. Он был нетерпим ко всякому лицемерию и не умел молчать. Власти, желая разделаться с профессором Гольдфарбом за его независимую и непреклонную позицию, возвели на него обвинение: он, будто бы, пытался переправить за рубеж генетические штаммы – препараты, на основании которых можно изучать генетические коды. Штаммы эти якобы обнаружили у ученого дома, при обыске.

Давид Моисеевич жестоко страдал, ибо чувствовал себя пораженным в правах человека и ученого. Мы старались как можно чаще быть с ним рядом, приглашали на еврейские праздники, пытались увлечь его тем, чем жили сами. Как могли, помогали в быту. Когда Давид Моисеевич не мог сам водить машину, возили его в поликлинику, привозили врачей на дом, доставляли лекарства, продукты. Он был знатоком и страстным любителем живописи и музыки. Это давало нам дополнительные возможности занять его пытливым, острый ум – и отвлечь от тягостных размышлений. Отношения с нашей семьей, с детьми, которых он полюбил, также были немалой поддержкой для него.

За выезд Давида Моисеевича боролись его коллеги – генетики разных стран мира. Его сын, Алик Гольдфарб, давно уже обосновался в Америке и оттуда стремился помочь отцу. В Москве жила дочь Оля, не помышлявшая об отъезде, а значит, вырвись он за рубеж, пришлось бы оставить в России и дочь, и двух горячо любимых внуков. Жена Давида Моисеевича, Цецилия Григорьевна, была человеком, глубоко укорененным в русской культуре, и это тоже представлялось серьезной проблемой. Нам с Леной, принявшим близко к сердцу судьбу Давида Моисеевича, предстояло стать свидетелями подлинной экзистенциальной драмы.

Алик установил контакт с корреспондентом американской газеты “News Week” Ником Даниловым, и тот опубликовал статью о судьбе Давида Моисеевича и о преследованиях, которым его подвергает советская власть. Разразился скандал. Ника Данилова лишили московской аккредитации, а на Давида Моисеевича оказали такое давление, что он с тяжелым инфарктом попал в больницу. Он делился с

нами своими тягостными сомнениями. Если даже удастся добиться разрешения, по силам ли будет ему переезд? Не утаил и того, что Алик в прежние годы не был особенно нежным сыном, а здесь надо оставить тех, кто его горячо любит, – дочь и двух внуков. Между тем, состояние его становилось угрожающим. На врачей института Вишневского, в котором лежал Давид Моисеевич, рассчитывать, как видно, не приходилось. Алик в Америке прилагал энергичные усилия, чтобы выпустили отца, добрался и до знаменитого Арманда Хаммера, финансового магната, пользовавшегося большим влиянием в Советском Союзе, где его считали одной из ключевых фигур для чрезвычайных контактов с Западом. Хаммер взялся помочь. Очевидно, как это всегда бывает у деловых людей, гуманитарные соображения подкреплялись у него неким политическим расчетом. Как бы то ни было, после вмешательства Хаммера все решилось как по мановению волшебной палочки: разрешение было получено, документы оформили мгновенно, и нам с Леной оставалось лишь хлопотать по поводу вывоза багажа и оформления бумаг на произведения искусства. Давид Моисеевич сокрушался, что из-за него пострадал Ник Данилов, с которым он уже успел подружиться, но и журналиста вскоре восстановили в Москве.

Весенним утром 1986 года, в день вылета в Америку, мы помогли нашему другу привести себя в порядок, побрили его и одели в новый тренировочный костюм: в больницу за ним приедет сам Хаммер! Цецилия Григорьевна просила, чтобы мы непременно присутствовали при встрече. «Завтра, Давид Моисеевич, вы увидите Алика, – сказала я, садясь у постели больного. – Вы рады?» – «Нет, не рад», – отвечал он и повторил снова то, что ему не давало покоя все последние дни. «И я не уверен, что мы с Цецилией Григорьевной так уж нужны Алику», – добавил он. Надо сказать, что и Цецилия Григорьевна, бывшая тут же, выглядела скорее растерянной, чем счастливой. Вдруг по больнице пронеслось: «Приехал!» Сам Арманд Хаммер почтил своим посещением институт Вишневского на Серпуховской площади! Явились отутюженные врачи с английскими бирками на крахмальных халатах, посторонние и непрезентабельные были удалены. Распахнулась дверь – и вот он вошел в сопровождении свиты: две секретарши (одна прикомандированная к его особе советской госбезопасностью), телохранители, привезенный им с собою американский врач, журналист, кинооператор и осветитель с юпитерами, которые тут же ослепительно вспыхнули, дабы исторический момент не потонул в серости московского утра. Моложавый, подтянутый, Хаммер подошел к нашему другу и пожал ему руку. «Завтра, – сказал он значительно, – вы увидите своего сына. Что вы чувствуете при мысли об этом?» – «Страшную усталость», – ответил Давид Моисеевич. «Ну, ничего, ничего, – Хаммер потрепал его по плечу. – Скоро мы с вами будем в моем самолете». Пока Давида Моисеевича перекладывали на каталку, Хаммер осмотрелся, затем подошел к одному из врачей, взял пальцами бирку на его халате и приблизил к своим глазам. Врач посмотрел на меня умоляюще. «Попросите его, чтоб не снимали», – пробормотал он. Я перевела это Хаммеру на английский. Он скомандовал оператору и тотчас оставил врача, утратив к нему всякий интерес. Затем все двинулись к выходу:

каталка с больным, Цецилия Григорьевна с Олей и ее мужем, накрахмаленные халаты, сам благодетель со свитой и замыкающий младший медперсонал. Тогда уж спустились по лестнице и мы с Леной.

У подъезда стояли «скорая помощь», лимузин Хаммера, машина КГБ – и наши с Леной синенькие «жигули». Давида Моисеевича и Цецилию Григорьевну поместили в «скорую», Хаммер сел в лимузин, а Оля с мужем поместились в наш скромный транспорт. Дальнейшее привело моего мужа в неопишуемый восторг: впервые в жизни он, любитель быстрой езды, помчался по московским улицам без ограничения скорости – и под охраной советской ГАИ! В Шереметьево мы попали в специальный отсек. И тут вышел конфуз: «скорую» и лимузин пропустили дальше, а перед нами опустили шлагбаум. А между тем, с нами были дочь отъезжающих и ее муж – как-никак, близкие родственники. Хаммер заметил это и что-то сердитое кинул охраннику. И тогда перед нами, уже просидевшими в «отказе» десять лет, отверженными, подозреваемыми и гонимыми, этот заветный шлагбаум взлетел легкой птицей. Мы вкатили прямо на летное поле, подъехали к трапу хаммеровского самолета... Надеюсь, читатель почувствовал всю фантастическую гротескность ситуации: на наших глазах были преданы посмеянию вся советская «секретность» и карательная система, а ее стражи – гебисты с «матюгальникаи» – громоздкими аппаратами связи в руках – жались у трапа, открыто ведущего туда, где они уже не имеют никакой власти.

Первым по трапу поднялся хозяин и собственноручно открыл дверь. Внесли в самолет Давида Моисеевича, следом вошла Цецилия Григорьевна. Мы ждем. Наконец к нам спускается Хаммер. Спрашиваем его, как себя чувствует Давид Моисеевич. «Не беспокойтесь, у меня весьма комфортабельно, – отвечает Хаммер, – а вот Цецилия Григорьевна волнуется, потому что не попрощалась с Олей». Гебешник, стоявший рядом, тут же стал связываться по рации с начальством, но Хаммер не стал ждать: он просто взял Олю под руку и по трапу повел в самолет. Мы остались втроем: я, Леня и Юра, муж Оли. Вскоре Хаммер к нам вышел снова. «Я не хочу им мешать, пусть прощаются», – объяснил он нам свое появление. Мы обменялись с ним несколькими любезно-шутливыми фразами. Я набралась духу: «Господин Хаммер, вот если бы вы могли помочь выехать Иде Нудель...» Не успела я закончить фразу, как гебешник рядом со мной забубнил в свою рацию: «Она говорит с ним об Иде Нудель». Аппарат рявкнул в ответ: «Пусть дочь немедленно выходит из самолета. Хватит!» Гебешник стал на корявом английском просить Хаммера, чтобы Оля вышла из самолета. Хаммер не реагировал. Я догадалась, что он просто не понимает. Тогда я взяла на себя роль переводчицы и объяснила ему, чего от него хотят. Он пожал плечами: «Но как же я могу улететь, если они прощаются?» Я сказала, что это, пожалуй, уже тяжело для всех. Он согласился и пошел в самолет. Тем не менее, Оля не появлялась. Гебешник вертел головой и явно не знал, что ему предпринять. Мы трое стояли молча. Наконец гебешник не выдержал. «Вы ее муж?» – обратился он к Юре. – «Да». – «Что, она хочет улететь с отцом?» – «Не думаю. У нас дома две девочки». Наконец появилась заплаканная Оля. Гебешник засуетился.

«Уезжайте сразу!» – скомандовал он, уже не видя необходимости церемониться.

И мы покатали домой по грешной Москве, где люди, по слову Булгакова, испорчены квартирным вопросом, где власти привыкли «держат и не пущать», покатали с дорожными пробками и красными светофорами. В тот же вечер я уезжала в молдавский город Бендеры, чтоб навестить высланную туда Иду Нудель.

А Давид Моисеевич на другой день позвонил Оле из Нью-Йорка. Он сказал, что его прекрасно встретили – сын, коллеги-ученые, журналисты. И что сердце его – в России.

В 1989 году мы с Леней были в Нью-Йорке и позвонили Гольдфарбам. Трубку взяла Цецилия Григорьевна. Она сказала, что Давид Моисеевич плох, что ему трудно говорить по телефону. Она же приглашает нас встретиться на выставке импрессионистов в музее «Метрополитен». Во многом еще живя московскими представлениями, я удивилась: «Но мы же будем три часа стоять в очереди...» – «Что вы, Юля! – воскликнула Цецилия Григорьевна. – Мы там будем с вами одни. Американцы разве ходят на выставки!»

Вскоре Давид Моисеевич умер. Оля с семьей перебралась в Штаты. Они с Цецилией Григорьевной поселились в Вашингтоне.

Была ли эта эмиграция желанной? «Вписывается» ли история семьи Гольдфарб в политизированное движение отказников? Жизнь, как всегда, сложнее наших представлений о ней.

Итак, проводив Гольдфарбов, я уехала вечерним поездом в Бендеры.

Как попала в этот молдавский город Ида Нудель? Эта худенькая, небольшого роста одинокая женщина приняла на себя героическую миссию: помогать заключенным в тюрьмы узникам Сиона. Сама получив отказ на выезд в Израиль, Ида неутомимо поддерживала тех, кто оказался за решеткой: писала обращения в юридические инстанции, устанавливала связь с прессой и родственниками, собирала и отправляла посылки. В среде отказников ее называли матерью узников. Власти решили положить конец ее деятельности и выслали Иду в Сибирь. Четыре года провела она там, теперь уже сама нуждаясь в помощи и поддержке. К Иде ездили наши друзья Марк Нашпиц, Лева Блитштейн и другие.

В Москве, в районе Рязанского проспекта, у Иды оставалась кооперативная квартира, плату за которую вносили наши товарищи. Квартирных долгов, таким образом, за ней не числилось. Но когда истек срок Идиной ссылки, КГБ инспирировал собрание пайщиков, на котором Иду исключили из кооператива – на том якобы основании, что в последние годы она в квартире не проживала. Это было явным нарушением закона, но добиться справедливости не удалось. Потеряв жилье, Ида теряла и московскую прописку и должна была искать себе пристанища в другом городе. Многочисленные друзья пытались помочь ей прописаться в каком-либо из крупных центров – в Одессе, Тбилиси, Риге. Но КГБ всюду опережал их действия. Наконец кто-то из наших купил дом в молдавском городе Бендеры и тотчас записал его на имя Иды, так что власти не успели отреагировать.

Это была большая удача. Бендеры, по масштабам Советского Союза, – это не такая уж периферия, да и климат хороший. К Иде стали больше

и чаще ездить друзья, родственники. Помню, много помогали ей двоюродная сестра Галя и ее муж, который все поправил и отремонтировал в ее скромном жилище, состоявшем из двух комнат и кухни. Ида занимала половину дома, в другой жила какая-то семья. Но был у нее и маленький садик, вид на спортивную площадку и на... тюрьму. Эта тюрьма была важным ориентиром, по которому гости находили дом Иды: поистине символическая топография для такого гонимого человека, как Ида Нудель! Разумеется, о том, чтобы провести к ней телефон, не могло быть и речи. Ида ходила на почту, порой высидив там долгие часы, чтобы соединили с сестрой Иланой в Израиле или с московскими друзьями, и часто уходила ни с чем: «нет связи»! Власти бдительно за ней наблюдали. Она отправлялась в Москву – по дороге ее то и дело снимали с поезда или автобуса. Но она была непреклонна в своих намерениях и все-таки добиралась. Ее знали как человека прямого и нелицеприятного, которому безусловно можно верить, знали широко – и в Союзе, и на Западе. О ней много писали, иностранные журналисты встречались с Идой в Москве. В Швеции снимали о ней художественный фильм.

Однажды, приехав в Бендеры, сориентировавшись по зданию тюрьмы и войдя во двор, я сразу наткнулась на хозяйку и, как было у нас принято, сказала: «Шалом». Ида почему-то посмотрела на меня отчужденно и ничего не ответила. «Ида, почему ты не отвечаешь?» – растерянно спросила я. И вдруг услышала ее голос – откуда-то из дома: «Юля, Юля, я сейчас иду!» Со встреченной во дворе «Идой» мы переглянулись и теперь уже улыбнулись обе. Как оказалось, это была Джейн Фонда, кинозвезда, приехавшая на съемки и, для вхождения в образ, уже загримированная в свою героиню. Мы заговорили по-английски, и я спросила, не может ли она похлопотать за Иду в Москве. Актриса ответила, что постарается что-нибудь сделать. Не могу сказать, последовало ли что-нибудь за этим обещанием. Джейн Фонда эту роль так и не сыграла – не сошлась в чем-то с продюссерами. Ее сменила шведская актриса Ли Ульман.

Помню, в первый раз, когда я отправилась к Иде, мы еще не были с ней близки. Но, как я уже писала, среди отказников принято было протягивать руку тому, кто нуждается в помощи, независимо от того, близко ли вы знакомы. Я привезла Иде книги. Мы провели вместе несколько хороших, памятных дней. Втроем – Ида, я и Идина собака колли – гуляли в городском парке, ходили на рынок, где меня поразили *бабушеры*, огромные, очень сладкие перцы. Мы готовили из них разные блюда, ели и так. Уезжая, я сказала Иде, что мой дом всегда для нее открыт, она всегда может рассчитывать на меня. Потом Ида звонила мне каждую неделю. Вскоре я приехала к ней вторично с участницей нашей женской группы Светланой Терлицкой, втроем мы съездили в Кишинев, осмотрели город.

Как-то мне сообщили, что в Москву приезжает делегация конгрессменов США и они хотели бы встретиться с Идой. Я вызвала Иду на телефонный разговор. Так как телефоны прослушивались и все, конечно, стало известно КГБ, я посоветовала Иде выехать заблаговременно. Она так и сделала. Несколько раз по пути ее снимали с поезда, но на встречу она поспела.

В другой раз Ида приехала в Москву, чтобы встретиться с участницами Международного женского конгресса – членами израильского Кнесета. Встреча состоялась у меня дома. Ора Намир, в дальнейшем министр в израильском правительстве, считала важной для себя встречу с известной правозащитницей и узницей Сиона Идой Нудель. Но и свою готовность к такой встрече она рассматривала как широкий и мужественный жест. В свою очередь, самолюбивая Ида полагала, что оказывает честь израильским делегаткам.

А весной 1987 года мне позвонили из ОВИРа и сообщили, что Иде дано разрешение на выезд и что Арманд Хаммер выразил желание доставить ее в Израиль. Я была поражена. Неужели сработала та моя просьба, при проводах Давида Моисеевича Гольдфарба? Читатель спросит: а почему из ОВИРа позвонили не Иде, а мне? И снова скажу: в эти последние советские годы власть становилась все более ленивой, небрежной и безответственной. То обстоятельство, что им была известна наша с Идой тесная дружба и что у Иды нет телефона в Бендерах, а у меня в Москве есть, оказалось достаточным, чтобы обратиться ко мне, человеку, с официальной точки зрения, совершенно постороннему. Как бы то ни было, я, конечно, немедленно вызвала Иду на переговорный пункт, и два дня спустя она уже была у меня, с чемоданами и собакой. Оформили все бумаги. Решили устроить прощальный вечер в находившемся неподалеку от меня ресторане «Вильнюс». Жили мы в периферийном районе Черемушки. Соответственно и ресторан был из весьма скромных, с бедным убранством и незамысловатой едой. Зато мы смогли пригласить более 100 отказников! Дня за два до назначенного вечера позвонила женщина, представившаяся секретарем Хаммера. От имени своего босса она попросила Иду о предварительной встрече с ним и назначила эту встречу как раз на тот день и час, когда должен был состояться наш прощальный вечер. Растерявшись, Ида согласилась. Когда она положила трубку, мы с Леней только руками развели: как можно? Ида замялась и, не умея признать свой промах, стала говорить, что ее встреча с Хаммером сейчас важнее, поскольку это нужно евреям. Нас это несколько не убеждало. «Знаешь что? – сказал Леня. – Позвони-ка сейчас и пригласи Хаммера к нам на банкет». Ида колебалась, но в глазах моего мужа было столько решимости, что она сняла трубку. На сей раз она говорила с самим Хаммером, и он бодро откликнулся: «С радостью приду!»

Ресторан «Вильнюс» не знавал такого представительного и отнюдь не советского собрания. Настоящий «сионистский шабаш»! Отказники, правозащитники, многие из которых отсидели в тюрьме, вольные речи, песни на иврите. Хаммер сильно опаздывал. Мы с Леней вообще не очень-то верили, что он приедет, и не особенно огорчались. Честно сказать, и некогда было: мы были вроде распорядителей – хлопот хоть отбавляй. Но вдруг по двухэтажному зданию пронесся шум, гости, сидевшие за столами, повернули головы, и на лестнице послышались шаги поднимающихся людей. Выглянувшие в окно сообщили, что у подъезда стоит лимузин. Дверь распахнулась. Арманд Хаммер со свитой явился взорам собравшихся. На правах знакомых мы с Леней представили его публике, и, конечно же, Иде Нудель. Он сел рядом с

ней. Увидев, что мы с Леной распорядимся застольем, он испросил для себя рыбы. Но рыбы в ресторане не осталось. Даже трески. Тем не менее, в Советском Союзе всегда находили скрытые резервы. Под нашим нажимом и небезвозмездно официанты раздобыли и рыбу. Ковыряя вилкой, ненасытный Хаммер попросил хрен. Я снова на кухню. Метрдотель воздел руки: «Да что вы, в самом-то деле! Хрена у нас год уже нету». Вернувшись ни с чем, я объяснила Хаммеру: «Вы не в Чикаго, мой дорогой». Но тут в зале появились Владимир Слепак и его жена Маша, просидевшие в отказе двадцать лет и буквально сегодня получившие разрешение. Началось такое бурное ликование, что Хаммер забыл о хрене, а все присутствующие – о Хаммере. Слепака стали качать. Хаммер скромно простился и уехал, сказав, когда заедет за Идой.

Тут я призываю на помощь все воображение моего читателя, ибо как мне живописать въезд во двор московской девятиэтажки кортежа американского миллионера? Не было окна, из которого не высунулась бы голова, а то и две. Я поспешила спуститься. «Вы можете подождать здесь, господин Хаммер? Сейчас Ида выйдет». – «Нет, – сказал он, – я хочу подняться и посмотреть, как вы живете». – «Но это четвертый этаж, а у нас не работает лифт». – «Пустяки. Я с удовольствием пойду пешком». И мы двинулись наверх по нашей узкой, грязной и выщербленной лестнице, с надписями на стенах и на дверях давно заглохшего лифта. В квартире, полной народу, вертелись собаки: наш черный пудель Бекар, любимец Лени, и Идин колли Пизер. Называя Хаммеру собак, я оказалась в затруднении, потому что *бекар* в нашем толковании-переводе – *отказ*, а по-английски музыкальный значок *бекар* называется *natural* – что имеет совсем другой смысл. Растволковать эту неразбериху нашим иностранным гостям мы никак не могли. Что же касается Пизера, то тут вообще полная чепуха, потому что Ида, намереваясь назвать собаку ивритским словом и желая сказать «рассеянный», запуталась в грамматике и употребила глагол прошедшего времени. Наш глупый Бекар был фамильярен и каждого нового гостя норовил лизнуть в нос. Не избежал этой участи и Арманд Хаммер. Впрочем, он держался демократом и молодцом, перезнакомился со всеми, кто был в квартире, отказался от кофе и повел весь народ вниз. Население дома уже было в полной готовности на своих постах и только что не вываливалось из окон.

Увы, поездка в аэропорт была на сей раз обыкновенной: скорость обычная, светофоры. Арманд Хаммер и Ида полетели прямо в Израиль, а мы возвратились домой. Встретил нас обалделый Саша. «Прихожу из института домой, а соседи удивляются: “Ты почему здесь? Родители разве тебя не взяли?” – “Куда?” – “Да они же все уехали в Израиль!”»

Шел пятнадцатый год нашего «отказа», и мы все еще не могли покинуть страну, из которой давно рвались впрочь. Нас, отказников, все еще много оставалось в Москве, да и в других городах Советского Союза.

Наше движение было во многом уникальным: его отличал не только высокий моральный дух, но и интеллектуализм. У нас работали постоянные семинары – по искусственному интеллекту (вел этот семинар профессор Лернер), по физике и математике (Виктор

Браиловский, Марк Азбель), по истории и политике (сначала Виталий Рубин, а потом Аркадий Май).

Со временем мы создали две женские группы. Одна – Женщины-сионистки – была не слишком многочисленной. Другая, которую возглавляла я, называлась Jews Women For Emigration and Survival in Refusal – «Еврейские женщины за эмиграцию и выживание в отказе». В эту группу входили женщины, которые боролись за право выезда, независимо от того, в какую страну они стремились уехать. Со мной работали Эрлена Матлина, Нелли Май, Анечка Лихтерова, Сильва Фискина, Светлана Терлецкая, Ева Шербаум, Шелли Менделеева, Фрада Меламед, Аля Рузер и другие.

В этой борьбе было много эпизодов, достойных рассказа. Один из них – наша голодовка, начатая 8 марта 1987 года в знак протеста против отказа на выезд. Голодовку мы организовали в трех квартирах: у Инны и Игоря Успенских, у Фрады Меламед и у нас с Леней. В каждой квартире находилось по тридцать женщин. Решили, что голодовка не будет «сухая», заготовили воду. Тем не менее, и этот вариант не всем оказался под силу: нескольким женщинам стало плохо, и они вышли из голодовки. Наша акция имела смысл только при условии широкой гласности, поэтому мы связывались с друзьями и родными по телефону, просили их информировать прессу и общественность. Мои звонки частью были в Израиль – маме, и в Америку – сестре. Нам тоже звонили отовсюду. На третий день голодовки к Успенским и к нам пришли два журналиста из «Вечерней Москвы». В моей квартире около пианино стояли бутылки с боржоми. Увидев эти бутылки, журналисты обрадовались: «Так это все блеф! Вашей жизни ничто не угрожает». – «Наша цель – не умереть, а привлечь внимание общественности. И мы этого добились: вот вы же приехали!» – ответила я. Но на следующий день в «Вечёрке» появилась статья, в которой наши вчерашние визитеры упражнялись в остроумии: оказывается, мы, решив похудеть, устроили себе разгрузочные дни.

В июне того же года в Москве проходил международный женский конгресс. Среди его участниц было несколько знакомых нам зарубежных правозащитниц. Прибыли и три делегатки из Израиля – члены Кнесета. Конечно, все «левые»: Ора Намир, Хайка Гроссман, Нава Орат. Председателем оргкомитета была первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. На ее имя мы подали петицию с просьбой разрешить нам участвовать в заседаниях, которые проходили в Кремле, с тем, чтобы, как мы писали, обсудить с передовыми женщинами мира проблему защиты нашего права на свободный выезд. Одновременно группа из 9 женщин, в которой была и я, добивалась встречи с Терешковой в Комитете советских женщин. Терешкова на встречу не явилась, а прислала своего представителя, который сказал, что со своей петицией мы опоздали и потому участвовать в заседаниях конгресса не сможем. К такому ответу мы были готовы и решили действовать самостоятельно: собрать альтернативную, независимую женскую конференцию и пригласить на нее делегатов конгресса.

Собирались в вечерние часы, когда уже заканчивались заседания в Кремле, и без предварительного объявления, чтобы не помешал КГБ, – на трех квартирах: у меня, у Веры Кац и у Лии Престиной, дочери

Феликса Львовича Шапиро. Делались серьезные, обстоятельные доклады. Мы обсуждали морально-этические и религиозные аспекты жизни отказников, проблемы воспитания детей в семьях, находящихся в отказе много лет, медицинские и другие вопросы. Доклады делали я, Эрлена Матлина, Нелли Май, Аля Рузер, Вера Кац, Наташа Розенштейн, Бела Гулько и другие. В три вечера состоялось 18 докладов. Мест не хватало: на каждом заседании присутствовало от 50 до 80 человек. Тезисы докладов переводились на английский язык и рассылались всем, кого волновала судьба отказников. Приезжали к нам и участницы Всемирного конгресса. Но делегатки из Израиля изыскивали такую возможность только однажды, и то поздно вечером, когда большинство участниц уже разошлось. Леня привез их на нашу квартиру из гостиницы. Было обидно и неприятно, что те, кто, казалось бы, должен особенно остро сочувствовать нашему движению, предпочли ему пышный и лживый советский официоз. Когда мы вышли их проводить, шины нашего автомобиля оказались проколоты. Дамы перепугались, а у нас эта обычная выходка гебешников не вызвала ничего, кроме досады. Леня вызвал такси. Ора Намир и ее спутницы хотели, чтобы он ехал с ними, но Леня решил, что с него довольно.

Подробный отчет о конференции написала доктор биологических наук Эрлена Матлина. Она же перевела его на английский и передала для распространения своему сыну в Израиль.

Как известно, 6 декабря 1987 года состоялась встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом, которая стала переломным моментом перестройки, сигналом к разрушению «железного занавеса». Во время этой встречи Щаранский организовал большую демонстрацию у Белого дома, в Вашингтоне. В демонстрации участвовали моя мама и сестра Марина. Каждая из них держала плакат, содержащий перефразированные слова Библии: «Отпусти мою дочь с семьей», «Отпусти мою сестру...» Мы, в Москве, решили организовать параллельную демонстрацию на Смоленской площади, у министерства иностранных дел. Заблаговременно, вечером 4 декабря, в нашей квартире заседал оргкомитет. Были Наташа Хасина, Юлий Кошаровский, Саша Холмянский, Светлана и Марк Терлицкие – всего около двадцати человек. Часов в 10 зазвонил телефон, и я услышала голос начальника московского ОВИРа Каракульки. Звонок этого важного чиновника в неурочное и столь позднее время, конечно, мог быть вызван только особыми обстоятельствами. Я внутренне напряглась. «Юдифь Евсеевна, у меня есть для вас радостная весть, – произнес Каракулька. – С вашего мужа снята секретность». Наши друзья, находившиеся в комнате и по моему лицу догадавшиеся, что произошло что-то из ряда вон выходящее, умолкли. Потом они мне говорили, что лицо мое несколько раз становилось то бледным, то красным, я же не чувствовала, как прилиwała и отлиwała кровь, я должна была осознать то, что слышу. «Снята секретность» – это значит: нас выпускают... После пятнадцати лет борьбы, преследований, после смертей и увечий – нас выпускают, вот-вот мы будем свободны, как никогда еще в жизни не были, я увижу маму, мы ступим на землю Израиля... Поймут ли меня те, кому свобода досталась от рождения, так же естественно и легко, как достаются человеку воздух, как свет? «Я вам не верю, – сказала я начальнику

ОВИРа». – «Честное партийное!» – «Честное партийное тем более меня не убеждает. Вы говорите это только для того, чтобы предотвратить наше участие в демонстрации. Вам это не удастся. И я вам не поверю, пока не получу открытку». (Эти открытки ОВИРа были официальным подтверждением того, что вам дано разрешение на выезд из страны.) «Ну, открытку – это сложно, – протянул Каракулька. – Девочки так заняты».

Тем не менее, назавтра Леня, Миша и Виктор Фультмахт пошли в ОВИР и, просидев там до позднего вечера, открытки получили. Теперь наше участие в демонстрации, требовавшей свободы выезда, было для нас лишь выражением солидарности с теми, кому в этой свободе было еще отказано. Мы, получившие разрешение, решили присоединиться к нашим товарищам, но без лозунгов. Утром следующего дня, выйдя из подъезда, мы с Леной наткнулись на Андрея Ивановича. «Вам не удастся поехать: у вас проколоты шины», – сообщил он. «Ничего, – отвечал Леня, – в Москве есть и другой транспорт». И мы отправились к станции метро «Калужская». Не успели дойти, как возле нас останавливается милицейская машина. Требуют предъявить паспорта. У отказников было принято паспорта всегда носить с собой, чтобы не давать гебешникам лишнего повода к задержанию. Милиционеры долго рассматривали наши документы. Придаться было решительно не к чему, и тем не менее старший сказал, что ему что-то неясно с нашей пропиской, а потому он берет паспорта на проверку. Мы можем забрать их потом. Расчет был на то, что мы не согласимся, поедем с ними в отделение милиции и на демонстрацию, таким образом, не попадем. Но мы согласились и пошли к метро. Дойти не успели: снова милиция, и снова требуют паспорта. «Только что ваши коллеги их у нас забрали», – сказал Леня. «Вам придется поехать с нами для выяснения ваших личностей», – невозмутимо ответил офицер. Мы с Леной поняли, что они нас переиграли. Пришлось сесть с ними в машину. Нас отвезли домой, там вернули паспорта и запретили выходить из дому до трех часов дня. Как потом выяснилось, под домашним арестом сидели в тот день еще несколько отказников.

Это была наша последняя стычка с советской госбезопасностью.

Итак, мы могли ехать. Оставалось решить только один, но весьма важный вопрос.

После операции одна моя нога стала короче другой на целых семь сантиметров. Я стала носить специальную обувь, чтобы компенсировать эту разницу. Мы знали, что такие проблемы решает в Кургане, недалеко от Челябинска, знаменитый доктор Илизаров, когда-то работавший в московском ЦИТО и изгнанный оттуда директором Волковым. Мы с Леной дважды ездили в Курган. Больничный городок произвел на нас отрадное впечатление. Условия в клинике были хорошие, оборудование – уникальное. Илизаров и его коллеги обследовали меня и заключили, что операция мне показана. Смысл операции состоял в том, что, вновь сломав кость в месте сращения, врачи добивались ее размягчения, а затем, обложив пластинками, с помощью специальных зажимов аппарата Илизарова, создавали направленное давление. Врач наблюдал сращение под микроскопом и корректировал. Чтобы пройти это лечение, я должна была находиться в клинике около полугода. В то

время очереди на операцию у Илизарова были огромными, люди ждали годами. Я записалась в министерстве здравоохранения. Это было в 1987 году, а очередь мне назначили на 1990-й. Как попасть раньше? У нас нашелся общий с доктором Илизаровым знакомый, который подсказал, что может быть приятно знаменитому доктору – и чем можно «ускорить» прохождение очереди. Оказывается, сын Илизарова серьезно играет в пинг-понг, а имеющиеся в продаже ракетки советского производства никуда не годятся. Значит, надо раздобыть настоящие ракетки. За этим дело не стало. Как только мои зарубежные друзья узнали, чем можно мне помочь, ракетки для настольного тенниса посыпались как из рога изобилия. Вскоре я получила приглашение на операцию и – одновременно – разрешение на выезд. Что было делать? Мы советовались со многими, и общее мнение было: ехать. Ехать, пока выпускают: слишком долго этого ждали, слишком дорого это нам обошлось. Кроме того, все говорили, что медицина в Израиле много сильнее советской и там, возможно, предложат что-то еще. Это нас убедило, и мы решили уезжать. К сожалению, наши упования не оправдались. Ничего кардинального израильские врачи предложить мне не смогли.

Эту большую главу, повествующую о стольких драматических событиях, мне все же не хочется завершать грустной нотой. Лучше я переброшу мостик в наше не столь уж далекое будущее, когда, в память и продолжение собраний в подмосковных Овражках, бывшие отказники организовали встречи в лесу у израильского поселка Бен-Шемен. У нас стало традицией собираться в этом красивом месте на праздник Суккот (Кущей). Фотографируемся все вместе. Однажды на таком групповом фото очень отчетливо вышел мой старший внук Шмулик, а внучка Шуля в кадр не попала. «Почему ты есть, а меня нет?» – обиделась Шуля. На что Шмулик важно ответил: «Ты не была в отказе, а я был». Верно. Шмулик покинул Москву десяти месяцев от роду.